
РЕЕСТР
312
ВЕРА НОКС
18+

Вера Нокс
Реестр

https://litres.ru/74728768
SelfPub; 2026

Аннотация

В Вальморе дети наследуют долги родителей. И расплачиваются за них годами каторжного труда.

Рен Холлоуэй была уверена: её семейная Книга чиста. Но в день совершеннолетия Реестр предъявляет ей счёт — триста двенадцать лет за государственную измену. Её отец умер той же ночью, а саму Рен немедленно отправляют в Дом Покаяния.

Перед смертью отец оставил ей короткое предупреждение: «Считай сама».

В мире, где цифры решают, кому жить на свободе, Рен начинает искать ошибку в безупречных записях. Но чем ближе она к правде, тем страшнее становится вопрос: кто на самом деле платит по долгам Содружества — и куда исчезают те, кого Реестр объявил мёртвыми?

Вера Нокс
Реестр

Глава первая. День Счёта

В День Счёта в Вальморе звонят все колокола сразу.

Сорок два собора, сто шестнадцать приходских церквей, колокольня Сената и Большой колокол Собора Счёта на Холме — тот самый, который отливали триста лет назад из цепей первых искупленцев. Звон начинается ровно в шесть утра и длится до семи. Час, когда невозможно спать, невозможно говорить и почти невозможно думать. Город гудит, как огромная медная чаша, по которой ударили ладонью.

Я не спала и до звона.

Сидела на подоконнике своей спальни, завернувшись в одеяло, и смотрела, как над рекой поднимается туман. С третьего этажа особняка Холлоуэев была видна вся южная часть города: черепичные крыши Кольца, белые, как сахар, шпили соборов, мосты через Сэйл. И за рекой — Гряда. Тёмная, плоская, под шапкой фабричного дыма. Оттуда звон доносился глуше. Там колоколов не было. Только заводские гудки.

Мне исполнялось восемнадцать через три недели, но Церемония проходит раз в год, для всех, кому восемнадцать исполнится до следующей весны. Сегодня. В десять утра, в

Соборе Счёта, мне вручат Книгу.

Книга Холлоуэев была чистой. Я знала это так же твёрдо, как своё имя. Двести лет назад прапрадед Бертрам выкупил последний долг рода — девять лет за драку в портовой таверне, совершённую каким-то дальним предком при королях, — и с тех пор в нашей семье никто не нарушал закон. Отец был Высшим судьёй Трибунала. Дед — тоже. Прадед заседал в Сенате. Чистая книга. Белые страницы. Печать Палаты на обложке, и больше ничего.

Так говорил отец. Так говорили все.

Я всё равно не спала.

* * *

В половине восьмого горничная Бет принесла завтрак и известие, что отец уехал.

— Ещё ночью, мисс, — Бет ставила поднос на столик у окна, не поднимая глаз. — В два часа. Велел заложить карету. Сказал, по делам Трибунала.

— В ночь перед Днём Счёта?

— Да, мисс.

— Он ничего не просил передать?

Горничная замялась. Пальцы, расправлявшие салфетку, на мгновение замерли.

— Просил, мисс, — Бет вынула из кармана передника сложенный листок. — Велел отдать вам. Только вам. Когда проснётесь.

Я взяла записку.

Отцовский почерк — мелкий, ровный, с длинными хвостами у «у» и «д». Почерк человека, который сорок лет подписывал приговоры. Две строчки.

«Рен. Что бы ни случилось сегодня — помни, что ты умеешь считать. Считай сама. Э. Х.»

Я перечитала трижды. Перевернула листок. На обороте — ничего.

— Что это значит? — спросила я.

Бет покачала головой.

— Не знаю, мисс. Его честь был… — горничная подбирала слово, — не в себе. Бледный очень. Дверь в кабинет запер на ключ, а ключ забрал с собой. Никогда так не делал.

Я сложила записку и спрятала в рукав. Почему-то не хотелось, чтобы её видела мать.

* * *

Мать спустилась к девяти, в тёмно-синем бархате и жемчугах, как будто собиралась не на Церемонию, а на приём в Сенат. Мэйв Холлоуэй, урождённая Ашфорд, всегда одевалась так, словно на неё смотрит весь город. Высокая, тонкая, с бледным неподвижным лицом и волосами цвета пепла, уложенными в сложный узел. Говорили, что в юности Мэйв была самой красивой девушкой Кольца. Говорили, что красота осталась, а тепло ушло — куда-то, когда-то, задолго до моего рождения.

— Ты бледна, — заметила мать, окинув меня взглядом от причёски до туфель. — Бет, румяна.

— Отец уехал, — проговорила я.

— Я знаю.

— Куда?

— По делам, — Мэйв Холлоуэй натягивала перчатки, палец за пальцем. — Твой отец — Высший судья, Рен. У него бывают дела, о которых не рассказывают дочерям за завтраком.

— В ночь перед моим Днём Счёта?

Мать подняла на меня глаза. Серые, светлые, холодные, как вода в фонтане зимой.

— Он будет в Соборе к десяти, — ответила Мэйв. — Он обещал. А твой отец не нарушает обещаний. Румяна, Бет.

Горничная подошла с коробочкой. Я позволила ей нарумянить мне щёки и смотрела на мать поверх головы Бет. Мэйв Холлоуэй стояла у окна, застёгивая последнюю пуговицу перчатки, и смотрела на Гряду. На тёмную, плоскую, задымлённую полосу за рекой.

У матери дрожали руки.

Совсем чуть-чуть. Я бы не заметила, если бы не перчатка: последняя перламутровая пуговица никак не попадала в петлю.

* * *

Селеста Марр ждала у кареты.

Подруга надела розовое — нежное, как лепесток, — платье с белым меховым воротником и шляпку, на которой качалось перо. Светлые кудри, ямочки на щеках, огромные го-

лубые глаза. Самая весёлая девушка Кольца и моя лучшая подруга с тех пор, как в семь лет мы вместе спрятались под столом на скучном приёме у канцлера и съели целое блюдо засахаренных слив.

Книгу Селеста получила в прошлом году. Чистую, конечно. Марры выкупили последний долг ещё при прабабушке.

— Ты похожа на привидение, — объявила подруга, обнимая меня. — Красивое. Но привидение.

— Не спала.

— Никто не спит перед Счётом. Я в прошлом году всю ночь ела шоколад, — Селеста взяла меня под руку. — Слушай. Слушай меня. Это скучно. Это просто очень длинная и очень скучная церемония. Тебя назовут, ты выйдешь, Архивариус откроет Книгу, посмотрит, скажет «чисто», закроет, отдаст. Всё. Потом все идут в «Белую лилию» есть пирожные. Джулиан уже заказал столик.

— Джулиан?

— Джулиан Кроу, — подруга многозначительно подняла брови. — Сын канцлера. Тот самый, который на Зимнем балу три раза пригласил тебя на вальс и ни разу — меня. Ты что, забыла?

Я не забыла. Джулиан Кроу был высоким, тёмноволосым, с насмешливыми карими глазами и привычкой говорить комплименты так, будто сообщал важные государственные новости. Наследник канцлера писал мне записки. Короткие, остроумные, на плотной кремовой бумаге с гербом

Кроу. Мать хранила их в шкатулке и называла «перспективой».

— Он будет в Соборе, — продолжала Селеста. — В первом ряду. Его отец ведёт Церемонию вместе с Архивариусом. Ну, не ведёт — присутствует. Но всё равно. Улыбнись ему, когда выйдешь. Тебе не трудно, а ему приятно.

Карета тронулась. Колёса застучали по брусчатке.

Я смотрела в окно. Мимо проплывали особняки Кольца: белые, с колоннами и коваными оградами, с садами, где уже распускались первые крокусы. Люди в нарядной одежде выходили из дверей, садились в кареты, шли пешком по направлению к Холму. Все — на Церемонию. Все — смотреть.

Записка отца лежала в рукаве. Я чувствовала её кожей.

«Помни, что ты умеешь считать».

* * *

Собор Счёта стоял на вершине Холма, над всем городом.

Огромный, серый, из гранита, с одной-единственной башней, на которой висел Большой колокол. Ни статуй, ни витражей, ни позолоты. Только камень. Над входом — надпись, выбитая буквами в человеческий рост: «ВСЁ ВЗВЕШЕНО. ВСЁ ЗАПИСАНО. ВСЁ ВОЗДАСТСЯ».

Внутри было холодно и гулко. Скамьи из тёмного дуба уходили рядами к алтарю. Только алтаря не было. На его месте стояла кафедра — высокая, каменная, а за ней, во всю стену, до самого свода, — полки. Тысячи полок. На них — Книги. Одинаковые, в тёмно-красных кожаных переплётах,

с золотыми номерами на корешках. Реестр Вальмора. Каждый род, каждая семья, каждый долг за триста лет.

Я видела эту стену много раз. На Церемониях кузенов, друзей, на свадьбах, на присягах Сената. Но сегодня стена казалась выше. Тяжелее. Как будто нависала.

Нас — тех, кому восемнадцать, — посадили в первые ряды. Сто двадцать человек из Кольца и Среднего города. Остальные, из Гряды, проходили Церемонию в другой день, в другом месте, без публики. Нам об этом не говорили. Я узнала случайно, из отцовского разговора с секретарём: «Покаянный Счёт — в четверг, как обычно». Тогда я не придала значения.

Селеста села с родителями в седьмом ряду. Мать — в пятом, в ложе Холлоуэев, рядом с пустым креслом. Отцовским.

Отец не пришёл.

Я оглядывалась каждые две минуты. На двери, на проход, на ложу. Кресло пустовало. Мать сидела рядом с ним прямо, неподвижно, с лицом, как у мраморной статуи.

В первом ряду, через проход, сидел Джулиан Кроу. В тёмно-зелёном сюртуке, с белым шейным платком, с серебряной цепью наследника на груди. Поймав мой взгляд, наследник канцлера чуть склонил голову и улыбнулся. Насмешливо, тепло. Одними глазами.

Я улыбнулась в ответ. Как велела Селеста.

Ударил колокол.

* * *

Лорд-Архивариус Сеймур Блайт поднялся на кафедру в десять часов ровно.

Старик. Очень старый — лет семидесяти, может, больше. Высокий, сухой, в длинной чёрной мантии с серебряной вышивкой по вороту. Совершенно лысый, с гладким желтоватым черепом, похожим на слоновую кость. Лицо узкое, острое, с длинным носом. Глаза за круглыми очками — бледно-голубые, внимательные, добрые.

Блайт улыбался. Старый Архивариус улыбался всегда. Я помнила его с детства: гость приходил к нам на ужины, приносил мне засахаренный миндаль в серебряной бумажке и рассказывал истории о древних королях. Отец звал его «стариной Сеймуром». Они играли в шахматы по четвергам.

— Граждане Содружества, — голос Архивариуса был тихим, но в каменном зале его слышали все. — Сегодня, в День Счёта, мы исполняем закон, данный нам основателями триста лет назад. Закон Наследования. Ибо сказано: вина не умирает с виновным. Долг не исчезает со смертью должника. То, что не искуплено отцом, искупит сын. То, что не искуплено матерью, искупит дочь. Так род отвечает за род. Так кровь отвечает за кровь. Так Содружество остаётся чистым.

— Чистым, — эхом отозвался зал.

Я тоже отозвалась. Голос у меня был чужим.

Начали вызывать.

По одному, по алфавиту. Человек поднимался со скамьи, шёл к кафедре по длинному проходу. Писец Палаты снимал

с полки Книгу рода, подавал Архивариусу. Блайт открывал, читал, называл число. Писец вписывал имя нового владельца на первую страницу. Человек получал Книгу в руки и возвращался на место.

— Абингтон, Генри. Ноль. Чист.

Аплодисменты.

— Арден, Кларисса. Ноль. Чиста.

Аплодисменты.

— Беллами, Томас. Четыре года.

Тишина. Короткая, неловкая. Томас Беллами — сын торговца тканями из Среднего города — побледнел, взял Книгу, пошёл обратно. Мать его на скамье закрыла лицо платком. Четыре года — немного. Их можно выкупить. Или отработать в лёгком Доме, на складе, на почте. Но — пятно. Навсегда.

— Брайтон, Эмили. Ноль. Чиста.

Аплодисменты.

Я считала. Привычка — с детства, отец научил. Считать шаги, ступени, удары колокола, людей в зале. «Числа не врут, Рен. Врут люди. Считай — и ты всегда будешь знать, где ложь». Сто двадцать человек. Сорок три вызвали. Тридцать девять — ноль. Четверо — с долгом. Самый большой — одиннадцать лет, у сына мясника из Среднего города.

Кресло отца в пятом ряду было пустым.

— Холлоуэй, Рен.

Я встала.

* * *

Проход между скамьями — сорок шагов. Каменный пол. Каблуки стучали гулко, как метроном. Я шла, глядя на кафедру. На старика в чёрном с серебром. На стену с красными корешками за его спиной.

Писец снял с полки Книгу.

Я узнала её издалека. Тёмно-красная кожа, потёртая на углах. Золотой номер на корешке: 1147. Холлоуэй. Я видела её однажды, в детстве, на Церемонии отца… нет, не отца — двоюродного брата, Гарольда. Тогда Архивариус открыл её и сказал «ноль», и все хлопали.

Писец подал Книгу Блайту.

Лорд-Архивариус взял её. Открыл.

И перестал улыбаться.

Я видела это. Я стояла в трёх шагах от кафедры и видела, как улыбка медленно сходит с его лица. Не сразу. Сначала замерли уголки губ. Потом опустились. Потом бледно-голубые глаза за очками поднялись от страницы — на меня.

В них была жалость.

Настоящая. Глубокая. Такая, с какой смотрят на смертельно больного.

— Холлоуэй, Рен, — произнёс Сеймур Блайт.

Голос дрогнул. Старик откашлялся.

— Наследие рода — двенадцать лет, — продолжал Архивариус. — По приговору Трибунала от одиннадцатого числа месяца Жатвы года двести восемьдесят первого, допол-

нительно — триста лет. По статье… — Блайт помедлил. Посмотрел в зал. Снова на страницу. — По статье первой Кодекса Содружества. Государственная измена.

Тишина.

Не та, что бывает перед аплодисментами. Мёртвая. Как в склепе.

— Итого — триста двенадцать лет, — договорил Лорд-Архивариус.

* * *

Я не поняла.

Это первое, что я помню, — что я не поняла. Слова дошли до ушей, но не до головы. Триста двенадцать. Число. Просто число. Как сорок шагов, как сто двадцать человек. Я стояла и смотрела на Блайта, ожидая, что старик сейчас засмеётся, или поправится, или скажет: «Простите, я перепутал книги».

Блайт не смеялся.

— Приговор, — проговорила я. Голос был очень тихим, но в каменном зале его услышали все. — Чей приговор?

Архивариус смотрел на меня поверх очков. Долго. С этой своей ужасной жалостью.

— Эдмунда Холлоуэя, — ответил Сеймур Блайт. — Вашего отца, дитя моё. Приговор вынесен закрытым заседанием Трибунала двадцать лет назад и засекречен по просьбе осуждённого. Исполнение отложено на срок его службы, — старик помолчал. — Неотбытый срок по закону переходит на наследника в момент смерти осуждённого.

— Смерти?

— Мне очень жаль, Рен, — голос Блайта стал совсем тихим. — Твой отец скончался сегодня ночью. В три часа. В своём кабинете в Трибунале. Сердце.

В пятом ряду кто-то вскрикнул. Коротко, задушенно.

Мать.

Я не обернулась. Я смотрела на Архивариуса. На Книгу в его руках. На страницу, которую мне не было видно.

«Что бы ни случилось сегодня — помни, что ты умеешь считать».

Отец уехал в два. Умер в три. Записку написал раньше. Значит, знал. Значит, ждал.

Триста лет.

— Возьмите Книгу, Рен Холлоуэй, — Блайт протянул её мне через край кафедры. Тяжёлую, красную, с золотым номером. — Так велит закон.

Я взяла.

Кожа была тёплой от его рук.

* * *

Дальше я помню плохо. Обрывками, как сон.

Как я иду обратно по проходу, сорок шагов, с Книгой в руках, и все смотрят. Как на скамьях отодвигаются, когда я прохожу. Как Селеста в седьмом ряду встаёт, белая, с открытым ртом, и мать удерживает её за руку.

Как Джулиан Кроу смотрит на меня из первого ряда. Не отводит глаз. Лицо у наследника канцлера — серьёзное, со-

средоточенное, без тени улыбки. Как будто Джулиан что-то считает.

Как моя мать в ложе Холлоуэев сидит, выпрямившись, рядом с пустым креслом, и не смотрит на меня. Смотрит прямо перед собой. На стену с Книгами.

Как я дохожу до своего места и не сажусь, потому что ко мне уже идут двое в серых мундирах Палаты. Стражи. С дубинками на поясе.

— Рен Холлоуэй? — старший сверился с листком. — Именем Палаты Реестра. Вы обязаны явиться в Дом Покаяния для начала искупления. Немедленно.

— Сейчас? — я не узнала свой голос. — Церемония ещё не…

— Закон об Искуплении, статья восьмая, — страж говорил равнодушно, как будто зачитывал расписание. — Искупленец, чей долг превышает сто лет, препровождается немедленно. Без права на сборы. Без права на прощание.

Чья-то рука взяла меня за локоть. Жёсткая, сильная. Повела к боковому выходу.

Я обернулась. Последний раз.

Зал смотрел на меня. Сто двадцать человек на передних скамьях, тысяча — на задних. Знать в шелках и бархате, купцы в сукне. Все.

И Лорд-Архивариус Сеймур Блайт на кафедре. С раскрытой книгой следующего рода в руках. Старик снова улыбался.

— Хьюз, Маргарет, — произнёс Блайт. — Ноль. Чиста.

Аплодисменты.

Дверь закрылась у меня за спиной.

В рукаве лежала записка отца. Я сжала её сквозь ткань так, что ногти впились в ладонь.

Отец уехал в два. Умер в три. Приговор — двадцать лет назад, «засекречен по просьбе осуждённого».

Отец сорок лет учил меня, что числа не врут.

Но здесь что-то не сходилось.

Глава вторая. Камера номер девять

Меня заперли в подвале Собора.

Узкий коридор под главным залом, каменные ступени вниз, факелы в железных кольцах. Двери — дубовые, окованные полосами, с маленькими зарешёченными окошками на уровне глаз. На каждой — номер, выбитый в металле. Стражи остановились у девятой. Старший отпер замок тяжёлым ключом.

— До утра, — бросил страж. — На рассвете паром.

— Какой паром?

Страж не ответил. Втолкнул меня внутрь, не грубо, но и не бережно, как вталкивают мешок с мукой. Дверь закрылась. Ключ повернулся.

Камера оказалась маленькой: три шага в длину, два — в ширину. Каменная скамья вдоль стены. Охапка соломы в углу. Ведро. Под потолком — щель окна, в которую была видна полоска неба и кусок водосточного желоба. Пахло сыростью,

плесенью и чем-то старым, кислым, въевшимся в камень за сотни лет. Страхом, наверное. Если у страха есть запах.

Я стояла посреди камеры с Книгой в руках. Тёмно-красная кожа, золотой номер 1147. Её не отобрали. По закону искупленец обязан хранить Книгу при себе до конца срока. «Чтобы помнил, сколько осталось».

Я села на скамью. Положила Книгу на колени.

Открыла.

Первая страница — родословная. Мелким каллиграфическим почерком, разными чернилами, разными руками. Холлоуэи. Двенадцать поколений. Имена, даты рождения и смерти, браки. Бертрам Холлоуэй, выкупивший последний долг. Мой прадед Освальд. Дед Генри. Отец.

Эдмунд Артур Холлоуэй. Год рождения 254. Год смерти…

Год смерти уже вписан. Свежими чернилами, ещё блестящими. 301.

Сегодня утром. Пока я сидела на подоконнике и смотрела на туман, кто-то уже взял перо и вписал год смерти моего отца в Книгу.

Я перевернула страницу.

Вторая — «Долги рода». Три записи. Две — старые, выцветшие, с пометкой «искуплено» и печатью. Третья — новая. Двенадцать лет. Причина — неразборчиво. Чей-то прапрапрадед, сбежавший с каторги при королях. «Не искуплено. Найдено при сверке. Внесено 300 г. С.». Прошлый год.

Подпись — «С. Б.».

Двенадцать лет, найденные при сверке. В прошлом году.

Я перевернула ещё страницу.

Третья.

«Приговор Высшего Трибунала Содружества. Закрытое заседание. 11-го числа месяца Жатвы 281 г. С. Обвиняемый — Эдмунд Артур Холлоуэй, судья Трибунала. Статья первая. Государственная измена. Срок — триста лет искупления. Исполнение отложено на срок службы осуждённого по ходатайству Лорда-Архивариуса. Приговор засекречен».

Подписи. Три судьи. Я знала их всех — они бывали у нас дома. Старый Рэдклифф, умерший пять лет назад. Судья Морроу, умерший позапрошлой зимой. И третья…

Третья подпись была отцовской.

Эдмунд Холлоуэй. Его почерк. Его длинный хвост у «д».

Отец подписал собственный приговор.

Я смотрела на страницу и не понимала. Судья не может судить сам себя. Это первое правило Трибунала — его знает любой школьник. «Никто не судья в собственном деле». Отец повторял мне это сотни раз. Если подпись — его, значит, это не приговор. Значит…

Я поднесла Книгу к щели окна. В сером свете чернила казались почти чёрными.

Под подписями — печать Палаты. Красный сургуч, оттиск песочных часов и весов. И ещё одна пометка. Совсем маленькая, в нижнем углу, другими чернилами. Не каллигра-

фия — быстрый, острый, наклонный почерк.

«Перевод на наследника — по смерти. Исп. в ночь Счёта. С. Б.»

Исполнить в ночь Счёта.

Не «по смерти». Не «когда наступит». В конкретную ночь. В ночь перед моей Церемонией.

Кто-то знал заранее, когда умрёт отец.

* * *

Я сидела так долго, что полоска неба в окне из серой стала тёмно-синей.

Не плакала. Странно, но слёзы не шли. Внутри было пусто, холодно и очень ясно. Как в зимнее утро, когда воздух такой прозрачный, что видно каждую черепицу на дальних крышах.

Отец уехал в два. Умер в три. Записку написал раньше: «Считай сама».

Приговор двадцатилетней давности, подписанный им самим. Пометка «исполнить в ночь Счёта». Двенадцать лет, «найденные при сверке» в прошлом году. Подпись — «С. Б.».

Сеймур Блайт. Старина Сеймур. Шахматы по четвергам. Засахаренный миндаль в серебряной бумажке.

Жалость в бледно-голубых глазах.

Я вспомнила, как Архивариус перестал улыбаться, открыв Книгу. Я решила тогда, что старик удивился. Что не знал.

Но если пометка — его, Блайт знал. Знал задолго до того,

как открыл. Улыбка исчезла не от удивления.

От чего тогда?

* * *

Ключ в замке повернулся около девяти вечера.

Я вскочила, прижав Книгу к груди. Дверь открылась. На пороге стоял страж с фонарём — тот самый, старший. За ним — женщина в тёмном плаще с капюшоном.

— Пять минут, — буркнул страж и отступил в коридор.

Женщина откинула капюшон.

Мать.

Мэйв Холлоуэй вошла в камеру и остановилась у порога. Прямая, бледная, в том же тёмно-синем бархате, что утром. Жемчуга на шее не было. Перчаток — тоже. Руки, сцепленные перед собой, были красными, как будто их долго тёрли.

— Мама, — выдохнула я.

Я шагнула к матери. Та отступила. На полшага. Совсем чуть-чуть. Но я увидела.

И остановилась.

— Я пришла сказать тебе две вещи, — проговорила мать. Голос был ровным, тихим, бесцветным, как будто Мэйв читала вслух чужое письмо. — Первое. Твоего отца похоронят послезавтра. В фамильном склепе Ашфордов, не Холлоуэев. Склеп Холлоуэев опечатан Палатой до выяснения обстоятельств.

— Каких обстоятельств?

— Второе, — Мэйв не ответила. — Сегодня вечером я по-

дала в Сенат прошение о выходе из рода Холлоуэй. По закону жена осуждённого изменника может вернуться в род отца, если отречётся от мужа и потомства. Прошение удовлетворено. — Пауза. — Я больше не Холлоуэй, Рен. Я Ашфорд. Как до замужества.

Я смотрела на неё.

На лицо, которое знала восемнадцать лет. Высокие скулы, светлые глаза, губы, сжатые в тонкую линию. Мать, которая учила меня держать вилку, вышивать гладью, делать реверанс. Которая ни разу не обняла меня без причины. Которая хранила в шкатулке записки Джулиана Кроу и называла их «перспективой».

— Ты отрекаешься от меня, — проговорила я. Не вопрос.

— Я отрекаюсь от рода, — поправила мать. — Это не одно и то же.

— Для меня — одно.

Мэйв Ашфорд долго молчала. Смотрела на Книгу в моих руках. На тёмно-красную кожу, золотой номер.

— Ты видела третью страницу? — спросила мать вдруг.

Я замерла.

— Видела.

— Подписи?

— Видела.

Что-то мелькнуло в светлых глазах. На долю секунды. Как рыба, которая всплыла к поверхности и тут же ушла в глубину.

— Тогда ты понимаешь, — проговорила Мэйв тихо, — почему я должна была это сделать.

— Нет, — я покачала головой. — Не понимаю. Объясни.

Мать не объяснила. Повернулась к двери. Подняла капюшон.

— Мама!

Мэйв остановилась на пороге. Не обернулась.

— Отец оставил мне записку, — проговорила я ей в спину. — Утром. Бет передала. «Помни, что ты умеешь считать». Ты знаешь, что это значит?

Плечи под тёмным плащом вздрогнули. Один раз.

— Это значит, что твой отец был глупцом, — ответила мать. Голос у неё сорвался — впервые, едва заметно. — Он тоже умел считать. И посмотри, куда это его привело.

Дверь закрылась.

Я стояла посреди камеры, прижимая к груди Книгу, и слушала, как в коридоре затихают её шаги.

* * *

Второй посетитель пришёл через час.

Я уже не вскакивала. Сидела на скамье, прислонившись спиной к холодной стене. Ключ повернулся. Дверь открылась.

Джулиан Кроу вошёл, пригнув голову под низкой притолокой.

Гость был всё в том же тёмно-зелёном сюртуке, с серебряной цепью на груди. Только шейный платок развязан, и тём-

ные волосы растрёпаны, как будто наследник канцлера долго ерошил их пальцами. В руке — корзинка, накрытая салфеткой.

— Хлеб, сыр, яблоки и бутылка вина, — объявил Джулиан, ставя корзинку на скамью рядом со мной. — Вино хорошее. Отцовское. Двадцать лет выдержки. Я подумал, если уж напиваться в тюремной камере, то хотя бы качественно.

Я смотрела на него снизу вверх.

— Зачем ты пришёл?

— Затем, что ты здесь, — Джулиан сел на скамью, через корзинку от меня. Вытянул длинные ноги. Сапоги у него были начищены до зеркального блеска. — И затем, что я, кажется, единственный человек в Кольце, который не боится, что от тебя можно заразиться изменой.

— Селеста не боится.

— Селесту заперли дома, — наследник канцлера пожал плечами. — Её отец велел. Она швырнула в него вазой. Мне рассказала горничная Марров, она в меня немного влюблена, — Джулиан помолчал. — Селеста передаёт, что любит тебя и что вытащит. Она так и сказала: «Вытащу». Не знаю как. Но я бы на её месте не сомневался. Она страшная, когда злится.

Я невольно улыбнулась. Первый раз за весь день.

Джулиан заметил. Карие глаза потеплели.

— Вот, — проговорил наследник. — Так лучше.

Кроу-младший достал из корзинки бутылку, вытащил

пробку — ловко, одним движением ножа. Налил вино в серебряный дорожный стаканчик. Протянул мне.

Я взяла. Не стала пить. Держала в руках, грея ладони о металл.

— Рен, — Джулиан повернулся ко мне. Улыбка ушла. Лицо стало серьёзным, сосредоточенным, таким, каким было в Соборе. — Я пришёл не только с вином. Я пришёл с предложением.

— Каким?

— Мой отец может выкупить твой долг.

Я замерла.

— Триста двенадцать лет, — продолжал наследник канцлера ровно, деловито, как будто обсуждал цену лошади. — Это огромная сумма. Даже для нас. Но Кроу могут. Если продать загородное поместье и часть отцовских рудников в Гряде — хватит. Палата примет выкуп. Ты будешь чиста. Получишь новую Книгу. С белыми страницами.

— Почему?

— Что — почему?

— Почему твой отец это сделает? — я смотрела Джулиану в глаза. — Продаст поместье. Рудники. Ради дочери изменника. Ради меня.

Наследник канцлера долго молчал.

— Не ради тебя, — признался Джулиан наконец. Честно, без улыбки. — Ради меня. Я его попросил. — Пауза. — Я хочу на тебе жениться, Рен. Ты это знаешь. Я хотел с Зимне-

го бала. Отец не возражал, пока ты была Холлоуэй с чистой книгой. Теперь он возражает. Но если выкупить долг… Если ты станешь чистой… Тогда он согласится. С одним условием.

— Каким?

Джулиан полез во внутренний карман сюртука. Достал сложенный лист бумаги. Плотной, кремовой, с гербом Кроу в углу. Развернул. Протянул мне.

Я прочла.

«Я, Рен Холлоуэй, дочь Эдмунда Холлоуэя, добровольно и без принуждения отказываюсь от всех прав на личные бумаги, записи, дневники, письма и иные документы покойного отца, где бы они ни находились, и передаю их в полное и безраздельное распоряжение Палаты Реестра. Обязуюсь не искать, не читать, не хранить и не распространять никаких записей, сделанных моим отцом. Подпись. Дата».

Внизу — пустая строчка для подписи. И рядом — уже стоящая печать. Красный сургуч. Песочные часы и весы.

Печать Палаты Реестра.

Я подняла глаза на Джулиана.

— Твой отец — канцлер, — проговорила я медленно. — Не Архивариус. Откуда на этой бумаге печать Палаты?

Наследник Кроу не отвёл глаз. Но что-то изменилось в его лице. Едва заметно. Как будто под тонкой кожей на скулах напряглись мышцы.

— Это формальность, — ответил Джулиан. — Выкуп дол-

га оформляется через Палату. Все бумаги — тоже.

— Какие бумаги отца им нужны?

— Не знаю, Рен. Правда, — наследник развёл руками. — Мне сказали — стандартная процедура. При выкупе долга изменника все его документы изымаются. Чтобы не было… — Джулиан поискал слово. — Последствий.

«Помни, что ты умеешь считать».

Утром отец уехал в два часа ночи. Запер кабинет на ключ. Ключ забрал с собой.

Вечером ко мне в камеру приходит сын канцлера с вином и бумагой. С печатью Палаты. Мне предлагают триста двенадцать лет — в обмен на отцовские бумаги.

Триста двенадцать лет. Цена. Значит, бумаги стоят больше.

Я сложила лист. Аккуратно, по прежним сгибам. Протянула обратно.

— Нет, — проговорила я.

Джулиан не взял бумагу.

— Рен…

— Нет, Джулиан.

— Ты понимаешь, что отказываешься? — голос наследника стал тише, жёстче. — Ты понимаешь, что такое триста лет? Ты не доживёшь. Никто не доживает. Ты будешь работать в Доме Покаяния до конца жизни. Стирать чужое бельё. Копать уголь. Мыть полы. Ты состаришься там. Умрёшь там. А потом, если у тебя будут дети, — они продолжат. Двести

восемьдесят лет. Твои внуки. Правнуки. — Джулиан наклонился ко мне. — И всё это — за бумаги, которых ты даже не видела.

— Именно поэтому, — ответила я.

— Что?

— Именно поэтому я не подпишу, — я положила лист ему на колено. — Я их не видела. А кто-то готов заплатить триста двенадцать лет, чтобы я их не увидела никогда, — я посмотрела Джулиану в глаза. — Это и есть их цена. Отец научил меня считать.

Наследник канцлера долго смотрел на меня. Потом медленно взял бумагу. Сложил. Убрал во внутренний карман.

Встал.

— Ты пожалеешь, — проговорил Джулиан. Без угрозы. Почти грустно. — Через неделю. Через месяц. Через год. Ты пожалеешь, Рен. И тогда… — наследник помолчал. — Тогда предложение ещё будет в силе. Я не отзову его. Просто знай.

— Почему?

Кроу-младший уже стоял у двери. Обернулся.

— Потому что ты мне нравишься, — ответил наследник просто. — По-настоящему. Даже сейчас. Даже больше, чем утром, — короткая усмешка тронула его губы. — Особенно сейчас.

Джулиан постучал в дверь. Страж открыл.

Джулиан ушёл. Корзинку оставил.

Я сидела на скамье, держа в руках серебряный стаканчик

с двадцатилетним вином. Потом выпила. Залпом, до дна, как пьют лекарство. Вино обожгло горло и ударило в голову тёплой мягкой волной.

Отец не изменял Содружеству. Я не знала этого — но знала.

Эдмунд Холлоуэй что-то нашёл. Или написал. Или узнал.

И это что-то стоило дороже, чем триста двенадцать лет моей жизни.

* * *

Паром отходил на рассвете от Покаянной пристани.

Плоская деревянная баржа с низкими бортами, на которой стояли люди. Человек сорок. Мужчины, женщины, двое стариков, несколько подростков на вид лет восемнадцати-девятнадцати. Все в серых балахонах — мне выдали такой же в камере, грубый, из мешковины, пахнущий хлоркой. У всех в руках — Книги. Красные, как моя. Только потрёпанные, засаленные, с оторванными углами.

Сегодняшний улов, догадалась я. Те, кто получил долг на Счёте. Из Среднего города, из Гряды. И я — единственная из Кольца.

На меня смотрели. Молча. Не так, как смотрела знать в Соборе, — с ужасом, с отвращением. Иначе. С любопытством. С насмешкой. С чем-то похожим на злорадство.

— Гляди-ка, — проговорила девушка рядом со мной. Невысокая, коренастая, с короткими чёрными волосами и шрамом на подбородке. — Белоручка. Из Кольца. Ты что,

тоже?

— Тоже, — ответила я.

— Сколько?

Я помедлила.

— Триста двенадцать.

Девушка присвистнула.

— Ого, — протянула незнакомка. — Неплохо для первого раза. У меня четыреста восемьдесят. От прабабки. Она украла корову, а корова была графская.

— Четыреста восемьдесят лет за корову?

— Двадцать — за корову, — девушка пожала плечами. — Остальное — пени. Набегает, знаешь. За триста лет, — незнакомка протянула мне руку. Ладонь была шершавой, в мозолях. — Маб. Маб Тиндер. Дом номер три.

— Рен.

— Знаю, — Маб усмехнулась. — Вся Гряда знает. С утра. Дочка Высшего судьи — в Покаяние. Тут такого лет сто не было. — Она прищурилась на меня. — Тебя сожрут, Белоручка. Ты это понимаешь?

— Понимаю.

— Не понимаешь, — Маб покачала головой. — Но поймёшь. Держись меня. Первую неделю. Потом сама.

Паром отвалил от пристани. Медленно, тяжело, на канате, который тянули лошади на том берегу.

Я стояла у борта и смотрела назад. На Кольцо. На белые особняки на холме, на шпили соборов, на серую громаду Со-

бора Счёта над всем городом. Колокол на его башне молчал.

Где-то там, в одном из белых домов, лежал отец. В склепе Ашфордов. Не Холлоуэев.

Где-то там мать вышивала гладью и больше не носила мою фамилию.

Где-то там старый Сеймур Блайт пил утренний чай и, может быть, вспоминал, как перестал улыбаться.

Я отвернулась.

Впереди, за туманом над Сэйлом, вставала Гряда. Тёмная. Плоская. Дымная. Трубы фабрик. Копры шахт. Длинные серые корпуса Домов Покаяния.

Триста двенадцать лет.

Я сжала Книгу.

И начала считать.

Глава третья. Дом Покаяния

Дом Покаяния номер три когда-то был суконной фабрикой.

Это было видно сразу: длинный, четырёхэтажный, из закопчённого красного кирпича, с рядами одинаковых узких окон и огромной трубой над крышей. Над воротами ещё читалась выцветшая надпись «Сукно Ривза и сыновей», а под ней, свежей белой краской, поверх: «ТРУДОМ ИСКУПИШЬ». Вокруг — высокая стена с битым стеклом поверху. Ворота — железные, на цепи.

Нас вели от пристани пешком. Сорок человек в серых балахонах, с Книгами в руках, по узким улицам Гряды, под

конвоем шести стражей. Улицы были мощёными, но мостовая давно провалилась, и в ямах стояла чёрная вода. Дома — низкие, кирпичные, вплотную друг к другу. Окна заклеены бумагой. На верёвках между домами сушилось бельё — серое, как небо.

Люди выходили посмотреть. Стояли в дверях, на крыльцах, в окнах. Женщины в платках, мужчины в рабочих фартуках, дети. Смотрели молча. На каждом левом запястье — железный обруч. Тусклый, потемневший, с выбитыми цифрами. У кого-то — два обруча. У старика на углу — три, один над другим, до самого локтя.

— Это что? — шёпотом спросила я у Маб. — Три обруча?

— Три Книги, — ответила соседка, не поворачивая головы. — Своя, отцовская и братнина. Брат стопнулся в шахте, отец — от лихорадки. Обоих долги — ему. Видишь цифру на верхнем?

Я присмотрелась. На верхнем обруче старика было выбито: 611.

— Шестьсот одиннадцать, — прошептала я.

— Это всего лишь Колин Бёрч, — Маб сплюнула в сторону. — Он ещё неплохо держится.

* * *

Ворота открылись с лязгом цепи.

Двор был мощёный, чистый, пустой. Посредине — колодец с железным воротом. По периметру — двери в корпуса, над каждой — табличка: «Прачечная», «Кухня», «Мастер-

ские», «Лазарет», «Скрипторий». В дальнем конце — часовня из того же красного кирпича, с маленькой колоколенкой.

На крыльце часовни ждала женщина.

Высокая, худая, в длинном чёрном платье с белым воротником. Седые волосы — гладко зачёсаны, убраны под чёрный чепец. Лицо — узкое, бледное, без единой морщины, как будто высеченное из воска. На груди — серебряная цепь с медальоном: песочные часы и весы.

— Сестра Агнесса, — шепнула Маб. — Смотрительница. Не смотри ей в глаза.

Я посмотрела. Не удержалась.

Глаза у Сестры Агнессы были чёрными, маленькими и совершенно пустыми. Как у куклы.

— Искупленцы, — голос смотрительницы был высоким, ровным, без интонации. — Вы прибыли в Дом Покаяния номер три. Здесь вы будете искупать долги своих родов трудом, молитвой и послушанием. Один год работы — один год искупления. Каждый день, который вы проведёте здесь, приближает вас и ваших потомков к чистоте. Помните: вы не наказаны. Вы — очищаетесь. Это милость Содружества.

— Милость, — повторили сорок голосов. Нестройно, тихо.

— Правила Дома, — Сестра Агнесса раскрыла маленькую чёрную книжку. — Подъём — в пять. Молитва — в половине шестого. Работа — с шести до шести. Обед — в полдень, четверть часа. Ужин — в семь. Вечерняя молитва —

в восемь. Отбой — в девять. Разговоры во время работы запрещены. Прикосновения между искупленцами запрещены. Выход за стену — запрещён. Неповиновение, лень, ложь, воровство — пени. От года до десяти. Побег — пени пятьдесят лет. Сопротивление Надзирателю — пени сто лет.

Сто лет. За сопротивление.

Я посмотрела на людей рядом. Никто не удивился.

— Сейчас вас острижут, — продолжала смотрительница, — и наденут обручи. После — распределение. Холлоуэй.

Я вздрогнула.

— Выйдите вперёд.

Маб тронула меня локтем. Совсем чуть-чуть. Я вышла.

Сестра Агнесса спустилась с крыльца. Подошла ко мне. Остановилась в шаге. От неё пахло воском и хозяйственным мылом.

— Дочь Высшего судьи, — смотрительница разглядывала меня кукольными глазами, сверху вниз. — Из Кольца. Триста двенадцать. Приговор за измену, — узкие губы чуть дрогнули. — У нас никогда не было никого из Кольца. Тебе будет трудно.

— Я понимаю.

— Не понимаешь, — Сестра Агнесса покачала головой. — Но ты научишься. Здесь все учатся. Надзиратель Вэр!

* * *

Я не слышала шагов.

Только что за спиной смотрительницы никого не было —

и вот стоял человек. Высокий. Широкоплечий. В тёмно-сером мундире Надзирателя, наглухо застёгнутом до горла, без знаков различия, без цепи, без медальона. Тёмные волосы — короткие, чуть вьющиеся. Лицо — резкое, худое, с прямым носом и упрямым подбородком. Молодое. Лет двадцать, не больше.

И глаза. Тёмно-серые, почти чёрные, неподвижные. Смотрели на меня так, как смотрят на камень у дороги. Без любопытства. Без злости. Без ничего.

На левом запястье Надзирателя, там, где у всех в Гряде железный обруч, — ничего. Голая кожа. Только узкий белый шрам поперёк.

— Это Холлоуэй, — проговорила Сестра Агнесса. — Особая. Наблюдай.

— Да, Сестра, — голос у Надзирателя был низким, ровным, чуть хрипловатым.

— Острижёшь сам. Обруч наденешь сам. Распределишь в прачечную. Через неделю доложишь.

— Да, Сестра.

Смотрительница кивнула и ушла в часовню. Дверь закрылась.

Надзиратель Вэр смотрел на меня. Я — на него. Двор молчал. Сорок человек за моей спиной не дышали.

— Иди за мной, — велел Надзиратель.

И пошёл. Не оглядываясь.

* * *

Стригли в маленькой комнате за кухней. Каменный пол, табурет, ведро с водой, ножницы на крюке. В углу — горн, в котором тлели угли. На полке — ряд железных обручей. Разных размеров. Потемневших, с пятнами ржавчины.

— Садись, — Надзиратель кивнул на табурет.

Я села.

Волосы у меня были длинными. До пояса. Рыжевато-каштановыми, тяжёлыми, вьющимися. Мать называла их моим «единственным достоинством» и велела Бет расчёсывать по сто раз каждый вечер. Я никогда их не стригла. Ни разу в жизни.

Надзиратель снял ножницы с крюка. Встал у меня за спиной.

Я закрыла глаза.

— Можешь не смотреть, — бросил Вэр.

— Я и не смотрю.

— Знаю. Говорю, чтобы ты не открывала.

Первая прядь упала на каменный пол. Я услышала шорох. Мягко, тихо, как сухой лист. Вторая. Третья. Ножницы щёлкали ровно, быстро, без пауз. Пальцы Надзирателя иногда касались моей шеи — коротко, холодно, — когда Вэр собирал волосы в горсть. Не грубо. Аккуратно. Как будто стриг не человека, а куст.

«Прикосновения между искупленцами запрещены», — вспомнила я. Но Надзиратель — не искупленец. Надзиратель — никто.

Щёлк. Щёлк. Щёлк.

Я считала. Пятьдесят два щелчка.

— Всё, — Вэр отступил.

Я открыла глаза. Подняла руку к голове. Пальцы нащупали короткие, неровные пряди. До ушей. Шея была голой, холодной, беззащитной.

На полу вокруг табурета лежали мои волосы. Рыжей горой. Как опавшие листья.

— Что с ними будет? — спросила я.

— Продадут, — Надзиратель повесил ножницы на крюк. — Парикмахеру в Кольцо. Из таких делают шиньоны для знати. Хорошие волосы — пять лет пеней долой. Твои — хорошие.

— Пять лет? — я обернулась. — С моего долга?

— С долга Дома, — поправил Вэр. — Не с твоего. Дом тоже должен Палате. У всех свои Книги.

Надзиратель подошёл к горну. Взял с полки обруч — узкий, тёмный, с гладкими краями. Положил на наковальню у горна. Взял тонкое долото, молоток.

— Число, — потребовал Надзиратель.

— Ты знаешь.

— Скажи. Так положено. Искупленец называет свой долг вслух, когда ему надевают обруч. Чтобы помнил.

Я сглотнула.

— Триста двенадцать.

Вэр поднял молоток. Ударил по долоту. Звонко, коротко.

Ещё раз. Ещё. Цифра за цифрой. Три. Один. Два. Металлическая стружка летела на пол.

Вэр выбивал моё число на железе так же ровно и быстро, как стриг волосы. Без единой паузы.

Потом поднял обруч щипцами. Сунул в угли. Подержал, пока металл не покраснел. Вынул.

— Руку, — велел Надзиратель.

Я посмотрела на раскалённый обруч. На свою левую руку — бледную, тонкую, с голубыми венами на запястье.

— Он же горячий.

— Остынет за секунду, — Вэр ждал. — Железо надевают горячим, чтобы сжалось по руке. Будет больно. Немного. Потом заживёт. Так у всех.

Я протянула руку.

Надзиратель взял меня за кисть. Пальцы у него были сухими, жёсткими, неожиданно тёплыми. Повернул мою руку ладонью вверх. Наклонился. Надел обруч одним движением — быстро, точно, через ладонь, на запястье.

Боль была белой. Ослепительной. Как удар молнии. Я закричала. Не смогла удержать.

Вэр не отпустил руку. Держал крепко, обеими ладонями, пока железо остывало, шипя, сжимаясь, вплавляясь в кожу. Секунда. Две. Три. Смотрел не на обруч. На меня. Прямо в глаза. Неподвижно.

— Дыши, — проговорил Надзиратель. Тихо. — Дыши, Холлоуэй. Сейчас пройдёт.

Я дышала. Сквозь зубы. Слёзы текли по лицу.

Боль отступила. Медленно, неохотно, как вода в отлив. Остался жар. И тяжесть. Железная, холодная, чужая.

Вэр отпустил мою руку.

Я посмотрела на запястье. Обруч сидел плотно, впритык, как будто вырос из кожи. Под ним краснел ожог. На тусклом металле — цифры. 312.

— Не снимается, — Надзиратель отступил к горну. — Никогда. Только кузнец Палаты может разрезать. По окончании срока. Или после смерти.

— После смерти — чтобы передать детям?

Вэр замер. На долю секунды. Потом повесил щипцы на крюк.

— Чтобы переплавить, — ответил Надзиратель. — Железо дорогое.

* * *

Надзиратель вывел меня во двор. Остальных уже остригли — другие Надзиратели, другие комнаты. Сорок человек стояли у колодца с одинаковыми короткими волосами, с одинаковыми красными ожогами под обручами. Маб тоже. Без волос соседка выглядела старше и злее. Шрам на подбородке стал заметнее.

Маб подмигнула мне.

— Холлоуэй, — Вэр остановился у двери с табличкой «Прачечная». — Работа начинается завтра в шесть. Сегодня — устройство. Койка в женском корпусе, четвёртый этаж,

комната двенадцать. Тиндер покажет.

— Ты знаешь Маб?

— Я знаю всех, — Надзиратель смотрел поверх моей головы. — Это моя работа.

Вэр повернулся, чтобы уйти.

— Подожди.

Вэр остановился. Не обернулся.

— Как тебя зовут? — спросила я. — По имени.

Пауза. Долгая. Во дворе было тихо — только скрипел ворот колодца, где кто-то из искупленцев набирал воду.

— Надзирателей не зовут по имени, — ответил наконец парень в сером мундире. — У нас нет имён. Только фамилии. По книге списания.

— Какой книге?

Надзиратель обернулся. Тёмно-серые глаза смотрели на меня — впервые не как на камень. С чем-то другим. Я не поняла с чем.

— Спроси у Тиндер, — проговорил Вэр. — Она расскажет. Она всё любит рассказывать.

И ушёл. Бесшумно, как пришёл.

* * *

— Кассиан, — сообщила Маб вечером.

Мы лежали на соседних койках в комнате номер двенадцать. Двенадцать коек, двенадцать женщин. Соломенные матрасы. Грубые одеяла. Окно — узкое, с решёткой. Лампа погашена в девять, как положено. Только свет фонаря со

двора падал на потолок длинным жёлтым прямоугольником.

— Что — Кассиан? — шёпотом переспросила я.

— Имя. Его зовут Кассиан. Кассиан Вэр, — Маб повернулась ко мне на бок. В темноте её глаза блестели. — Он не любит, когда знают. А я знаю.

— Откуда?

— Мы из одного переулка, — соседка помолчала. — С Канатной улицы. Он был старше меня на год. Его отец работал в шахте «Глубокая», мать — на прядильне. Нормальная семья. Долг — сорок лет. Почти ничего по нашим меркам. А потом обвал. «Глубокую» завалило. Сорок три человека. Отец Кассиана, мать — она приносила обед. Двое братьев. И сам Кассиан — ему было двенадцать, он таскал вагонетки.

— Он выжил?

— По бумагам — нет, — Маб хмыкнула. — По бумагам весь род Вэров погиб при обвале. Род кончился — Книгу закрыли. Списали. Долг — ноль. Потому что некому отрабатывать.

— А он?

— А его через неделю вытащили из-под завала. Живого. Палата пришла, посмотрела. Род списан. Книга закрыта. Значит, мальчика по закону нет. Он мёртвый, — соседка помолчала. — Таких Палата берёт себе. Растит. Учит. Делает Надзирателями. У них нет Книги. Нет долга. Нет имени. Нет прав. Их можно убить, и это не будет убийством — нельзя убить того, кого нет. Понимаешь?

Я молчала.

Голая кожа на запястье. Узкий белый шрам. «Железо дорогое».

— Поэтому их и боятся, — продолжала Маб тихо. — Не потому, что они злые. Многие злые, но Кассиан — нет. Он просто… никакой. Он ничего не может потерять. Его нельзя наказать пенями — у него нет Книги. Нельзя лишить имени — у него его нет. Нельзя отнять семью. Нельзя ничего. Человек, которому нечего терять, — самый страшный человек на свете, Белоручка, — соседка вздохнула. — Так моя бабка говорила.

Я смотрела на жёлтый прямоугольник на потолке.

Руки у Надзирателя были тёплыми. Держал моё запястье, пока железо остывало. Смотрел в глаза. «Дыши, Холлоуэй».

— Маб, — прошептала я.

— Мм?

— А если человеку нечего терять, ему есть что хотеть?

Соседка долго молчала.

— Спи, Белоручка, — ответила Маб наконец. — Завтра стирка. Шесть утра. У тебя руки к обеду в кровь сотрутся. Ты даже не представляешь.

Маб отвернулась к стене.

Я лежала и трогала обруч на запястье. Железо было холодным. Под ним пульсировал ожог.

Триста двенадцать.

Я стала считать. Не годы — дни. Если работать каждый

день, без выходных, без болезней, без пеней. Триста двенадцать лет. Сто тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят дней.

Я досчитала до конца и начала снова.

Потом уснула.

Глава четвёртая. Скрипторий

Маб не соврала. К обеду первого дня руки у меня были в крови.

Прачечная Дома номер три занимала весь первый этаж западного корпуса — огромный зал с каменным полом и низким сводчатым потолком, в котором стоял пар. Густой, горячий, белый, пахнущий щёлоком и мокрой шерстью. Вдоль стен — котлы. Двенадцать медных котлов на кирпичных печах, в которых кипело бельё. Посредине — длинные деревянные корыта с холодной водой. У корыт — женщины. Пятьдесят, шестьдесят, я не могла сосчитать в пару. Все в серых балахонах, с закатанными до локтя рукавами, с одинаковыми короткими волосами, повязанными платками. Все молча тёрли бельё о ребристые доски.

Бельё привозили из Кольца. Простыни, наволочки, скатерти, салфетки, рубашки, нижние юбки. Тонкий лён, батист, шёлк. Метки на уголках — вышитые гербы. Я узнала три. Марры. Кроу. Ашфорды.

Ашфорды. Мамин род.

Я стояла у корыта, держа в руках мокрую наволочку с вышитым серебром гербом — ясень и сова, — и не могла по-

шевелиться. Мамина наволочка. Может быть, с маминой подушки. Может быть, мать спала на ней вчера, после того как вернулась из камеры номер девять.

— Три, — шепнула Маб рядом, не поднимая головы. — Три, Белоручка. Не стой. Агнесса смотрит.

Я тёрла.

Ребристая доска сдирала кожу с костяшек. Щёлок разъедал ссадины. Вода в корыте была ледяной, а пар от котлов — обжигающим, и к полудню я перестала чувствовать пальцы. Сначала они болели. Потом горели. Потом онемели совсем, и я тёрла бельё, глядя на свои руки как на чужие — красные, распухшие, с лопнувшей кожей на суставах, с розовыми разводами крови в мыльной пене.

Я никогда не стирала. Ни разу в жизни. Даже носовой платок.

В полдень ударил колокол на часовне. Женщины разогнулись все разом. Пошли к дверям. Обед — четверть часа.

Я не могла разжать пальцы. Они свело на краю корыта. Маб подошла, взяла мои руки в свои — шершавые, жёсткие — и разогнула мне пальцы по одному. Молча. Быстро.

— Прикосновения запрещены, — прошептала я.

— Ага, — согласилась соседка. — Пусть пени выпишут. Мне уже всё равно, четыреста восемьдесят или четыреста восемьдесят один.

* * *

На третий день в прачечную пришёл Надзиратель Вэр.

Я увидела его не сразу. В пару всё плыло: люди, котлы, бельё. Только услышала, как вокруг меня затихло. Женщины, которые и так работали молча, теперь работали молча иначе — быстрее, ниже наклоняя головы. Как трава под ветром.

Кассиан стоял у котла номер семь, заложив руки за спину. Тёмно-серый мундир, застёгнутый до горла. Неподвижное лицо. Смотрел на нас.

На меня.

Я тёрла. Опустила голову, как все. Тёрла скатерть с гербом Кроу — дуб и ворон, — и считала. Сорок движений вверх-вниз на один квадрат ткани. Восемьдесят квадратов на скатерть. Три тысячи двести движений.

Шаги за спиной. Бесшумные. Я не услышала — почувствовала. Как сквозняк по голой шее.

— Холлоуэй, — голос Надзирателя был тихим, ровным. — Руки.

Я замерла.

— Покажи руки.

Я вынула руки из корыта. Повернулась. Подняла.

Кассиан смотрел на них. На красную, распухшую, лопнувшую кожу. На кровь, сочащуюся из трещин на костяшках. На обруч, под которым ещё не зажил ожог.

Лицо у него не изменилось. Ничего не дрогнуло. Только тёмно-серые глаза задержались на моих ладонях на секунду дольше, чем нужно.

— Ты умеешь писать, — проговорил Надзиратель. Не во-

прос.

— Да.

— Хорошо?

— Хорошо, — я помедлила. — Меня учил каллиграф Сената. Восемь лет. Отец хотел…

Я замолчала. Не важно, чего хотел отец.

— Скрипторию нужен переписчик, — Вэр отступил на шаг. — Старый Пиккерт стопнулся на прошлой неделе. Его место свободно. Сестра Агнесса согласна.

— Почему я?

— Потому что ты умеешь писать, — повторил Надзиратель. — А здесь девять из десяти не умеют читать.

Вэр развернулся и пошёл к выходу.

Я стояла у корыта с поднятыми руками. Мыльная вода стекала по запястьям, капала на пол.

— Иди, дура, — прошипела Маб у меня за спиной. — Иди, пока он не передумал.

* * *

Скрипторий располагался на четвёртом этаже восточного корпуса, под самой крышей.

Длинная комната с двумя рядами высоких окон — единственных в Доме без решёток. Свет падал сверху, косыми столбами, и в нём плавала пыль. Вдоль окон — пюпитры. Двадцать наклонных деревянных столов для письма, исцарапанных, заляпанных чернилами. На каждом — чернильница, пучок перьев, нож для очинки, песочница. У каждого —

табурет.

И Книги.

Красные. Сотни. Тысячи. Стопками на полу, на полках вдоль стен, на подоконниках, на столах. Потрёпанные, засаленные, с оторванными корешками и выпадающими листами. Книги Гряды.

За пюпитрами сидели люди. Человек пятнадцать. Мужчины и женщины, старые и не очень. Все склонились над бумагой. Скрипели перья. Пахло чернилами, бумажной пылью и чем-то кислым — дешёвым клеем.

У первого окна, за самым большим пюпитром, сидел старик.

Совсем старый, белый как лунь, с длинной всклокоченной бородой, в очках с толстыми линзами, перевязанных бечёвкой. Худой, сгорбленный, весь какой-то высохший, как ветка. На левой руке — два обруча. Один — тусклый, почти чёрный от времени. Второй — поновее.

Старик поднял голову, когда мы с Надзирателем вошли.

— Вэр, — проговорил старик. Голос был скрипучим, как несмазанная дверь. — Что ты мне привёл?

— Переписчицу, Фенн, — ответил Кассиан. — Вместо Пиккерта.

— Белоручку, — старик прищурился на меня сквозь толстые линзы. — Из Кольца. Я слышал. Вся Гряда слышала. — Пауза. — Писать умеешь, Белоручка?

— Да.

— Покажи.

Фенн кивнул на свободный пюпитр рядом со своим. Я подошла. Села на табурет. Взяла перо.

Пальцы не слушались. Распухшие, с лопнувшей кожей, они не гнулись. Перо выскальзывало. Я стиснула зубы. Сжала сильнее. Обмакнула в чернильницу.

— Что писать?

— Что хочешь, — старик пожал плечами.

Я подумала.

И написала. Медленно, аккуратно, тем почерком, которому меня учил старый Ротвелл, каллиграф Сената. С наклоном вправо, с ровными петлями, с длинными, тонкими, как волос, хвостами у прописных.

«Числа не врут. Врут люди».

Фенн наклонился. Долго смотрел на строчку сквозь толстые линзы. Потом поднял голову. Посмотрел на меня. На Кассиана.

— Годится, — заключил старик. — Садись к окну, Белоручка. Будешь переписывать сорок вторую полку. Вэр, иди. Ты мне свет загораживаешь.

Надзиратель постоял ещё секунду. Посмотрел на мою строчку. На меня.

Ушёл.

* * *

Работа была простой. Так объяснил Фенн в первый же час, раскладывая передо мной Книги, перья, стопку чистых ли-

стов.

Каждая Книга Гряды существовала в двух экземплярах. Оригинал хранился в Соборе Счёта, на полках за кафедрой, или в Скале — хранилище под Собором, если род был старым. Копия — у искупленца, при себе, до конца срока. Копии ветшали. Рвались, мокли, горели, терялись. Тогда Палата присылала в Скрипторий заверенный оригинальный лист — или выписку из Реестра, — и переписчики делали новую копию. Вручную, страница за страницей, буква за буквой. Потом копию сверяли. Ставили печать. Отправляли владельцу.

— Механических прессов у Палаты нет? — спросила я.

— Есть, — Фенн хмыкнул в бороду. — Но Палата не доверяет прессам. Пресс можно подделать. А руку — сложнее. Каждая Книга Реестра пишется рукой. Так было триста лет. Так будет всегда.

— А если переписчик ошибётся?

— Тогда пени, — старик подвинул ко мне чернильницу. — Год за каждую ошибку. Не ошибайся.

Я не ошибалась.

Работала медленно, сосредоточенно, как на экзамене у Ротвелла. Пальцы болели, но перо держали. Буквы ложились на бумагу ровно. Я переписывала имена, даты, приговоры. Кражи. Драки. Долги. Побеги. Бродяжничество. Пьянство. Неповиновение. Года, годы, годы. По пять, по десять, по двадцать. Пени, пени, пени.

Род Хэтчер, Канатная улица. Долг — двести одиннадцать лет. Род Гриммс, Литейный переулок. Триста сорок. Род Пайк, Шахтёрская слобода. Сто девяносто.

К вечеру я переписала шесть Книг. Голова гудела. Глаза резало. Перед глазами плыли строчки, цифры, имена.

И что-то не давало покоя.

Я не сразу поняла что. Сидела, глядя на последнюю страницу последней Книги, и чувствовала: что-то не так. Как фальшивая нота в знакомой мелодии. Как лишний шаг на лестнице, которую проходила тысячу раз.

Отец научил меня считать.

Я вернулась к первой Книге. Род Хэтчер. Нашла запись. Прапрапрадед Джозайя Хэтчер, кража овцы, двадцать лет, год 94 по Содружеству. Ниже — дата рождения Джозайи: год 97.

Джозайя украл овцу за три года до собственного рождения.

Я перечитала. Ещё раз. Может, ошибка переписчика? Опечатка? Перевернула страницу — оригинальная выписка Палаты, с печатью, была вложена между листами. Сверила. Нет. В оригинале то же самое. Кража — 94. Рождение — 97.

Я пошла дальше.

Род Гриммс. Прадед Оливер Гриммс, бродяжничество, пятнадцать лет, год 203. Место приговора — Трибунал Вальмора. Но на соседней странице, в разделе «Перемещения рода», было записано: Гриммсы переехали в Вальмор из про-

винции Холмс в году 211. Через восемь лет после приговора.

Оливера Гриммса осудили в городе, где он не жил.

Род Пайк. Прапрадед Сэмюэл Пайк. Пьянство, десять лет. Год 156. Почерк записи…

Я замерла.

Почерк записи был мне знаком.

Не почерк самого Сэмюэла Пайка, конечно, — запись делал писец Палаты. Но я его уже видела. Сегодня. Трижды. В Книге Хэтчеров, в записи о краже овцы. В Книге Гриммсов, в записи о бродяжничестве. Острые, наклонные, узкие буквы. Длинные хвосты, загнутые вверх, как крючки. Одинаковые петли у «в» и «д».

Один и тот же почерк. В записях, сделанных — если верить датам — в годах 94, 156 и 203. С разницей в сто десять лет.

Один писец не мог прожить сто десять лет.

Я сидела над тремя раскрытыми Книгами и чувствовала, как по спине ползёт холод.

* * *

— Ты что-то нашла, — проговорил Фенн.

Я вздрогнула. Скрипторий опустел — все ушли на ужин, колокол ударил минут пять назад, а я не услышала. Только старик остался за своим пюпитром у первого окна. Сидел, сложив высохшие руки на столе, и смотрел на меня поверх очков.

— Нет, — ответила я быстро. — Ничего.

— Нашла, — Фенн не спорил. Просто констатировал. — У тебя лицо стало, как у моей покойной жены, когда она находила в капусте червяка, — старик кивнул на Книги передо мной. — Покажи.

Я помедлила. Посмотрела на дверь. Пусто.

Показала. Хэтчеров — овцу, украденную до рождения. Гриммсов — приговор в городе, где они не жили. Пайков — почерк.

Фенн долго смотрел на страницы сквозь толстые линзы. Водил по строчкам высохшим пальцем с жёлтым ногтем. Губы у него шевелились, беззвучно.

Потом поднял голову. И я увидела в его глазах — выцветших, слезящихся, старых — не удивление.

Страх.

— Закрой, — проговорил Фенн тихо.

— Но это же…

— Закрой Книги, Белоручка.

Я закрыла. Одну за другой.

Старик снял очки. Протёр их краем бороды. Надел обратно. Руки у него дрожали.

— Мне семьдесят лет, — проговорил Фенн. — Пятьдесят два из них я в этом Доме. Сорок — в этом Скриптории. Я переписал, может, десять тысяч Книг. Может, больше. — Пауза. — Я видел то, что ты видишь, девочка. Не в первый день. На пятый год. На десятый. Я видел овец, украденных до рождения. Людей, осуждённых в чужих городах. Один по-

черк на трёх веках. Я видел.

— И что?

— И ничего, — Фенн посмотрел на свои руки. На два обруча на левом запястье. — Я переписывал дальше. Каждый день. Сорок лет. Ровно, аккуратно, без ошибок. Потому что знал: тот, кто начнёт считать вслух, — стопнется. Не от старости. Не от лихорадки. Просто однажды утром не проснётся. Или упадёт с лестницы. Или его найдут в Сэйле.

— Кто-нибудь начинал?

— Пиккерт, — ответил старик. — Тот, чьё место ты заняла. Он тоже нашёл. В прошлом месяце. Написал письмо в Палату. Честь по чести, с выписками, с номерами Книг, — Фенн помолчал. — Через неделю его нашли в колодце во дворе.

— Сестра Агнесса сказала…

— Сестра Агнесса сказала, что Пиккерт стопнулся, — старик кивнул. — Это правда. Стопнулся. В колодце.

Я сидела неподвижно. Смотрела на закрытые Книги перед собой. На красную кожу, на золотые номера.

— Зачем? — прошептала я. — Зачем Палате дописывать людям преступления? Зачем красть овец за мёртвых?

Фенн долго молчал. Смотрел в окно. На крыши Гряды, на дым фабричных труб, на тёмную ленту Сэйла и на белые особняки Кольца за рекой. На серый силуэт Собора Счёта на Холме.

— Знаешь, сколько я должен? — спросил старик наконец.

— Нет.

— Когда я пришёл сюда, в восемнадцать, — сто девяносто лет. Пятьдесят два года отработал. Каждый день. Без выходных. Без болезней. — Фенн поднял левую руку. Показал новый обруч. Цифры на нём были выбиты чётко, ярко. 301. — Сейчас — триста один. Пени. Проценты. Новые записи «найденные при сверке». Каждый год Палата находит в Книге Феннов что-нибудь новое. Прапрадеда-конокрада. Прабабку-воровку, — старик опустил руку. — Пятьдесят два года, девочка. Я отработал пятьдесят два года, а должен на сто одиннадцать больше, чем пришёл.

Я смотрела на цифры на обруче.

— Это невозможно, — проговорила я.

— Это Реестр, — ответил Фенн. — Здесь всё возможно.

Фенн поднялся. Медленно, тяжело, держась за пюпитр. Снял с крючка у окна свою старую серую куртку. Надел.

— У меня есть внучка, — проговорил старик, не глядя на меня. — Лотти. Девятнадцать лет. Работает в прачечной, у котлов. Ты её видела, наверное. Маленькая, светленькая, с родинкой на щеке. Когда я стопнусь, она получит мою Книгу. Триста один год. Плюс свои — двадцать от матери. — Фенн помолчал. — Я не хочу, чтобы она начала считать, Белоручка. Пусть живёт. Сколько получится.

Старик пошёл к двери. На пороге обернулся.

— Не считай вслух, — велел Фенн. — Если уж не можешь не считать — считай про себя. И никому не показывай. Ни

мне, ни Тиндер. — Пауза. — Ни Вэру.

— Почему ни Вэру?

Старик посмотрел на меня долгим взглядом.

— Потому что Надзиратели — глаза Палаты, — ответил Фенн. — А Вэр — лучший из них. Он видит всё. Даже то, что ты прячешь в рукаве.

Дверь закрылась.

Я сидела одна в пустом Скриптории. Солнце садилось. Косые столбы света из высоких окон становились рыжими, потом красными. Пыль в них плавала медленно, как золотые рыбки в аквариуме.

Я сунула руку в рукав балахона.

Записка отца лежала там. Сложенная вчетверо. Я пронесла её через камеру, через паром, через стрижку и обруч. Никто не отобрал.

«Помни, что ты умеешь считать. Считай сама».

Отец знал. Отец нашёл то же, что нашла я. То же, что нашёл Пиккерт.

Отец не написал письмо в Палату.

Отец написал мне.

Глава пятая. Лотти

Две недели я переписывала чужие Книги и считала про себя.

Как велел Фенн. Ровно, аккуратно, без ошибок. Утром — молитва в часовне, где Сестра Агнесса читала с кафедры «Наставления искупленцу» высоким голосом без интонации.

Потом — Скрипторий. Пюпитр у окна. Перо, чернила, песочница. Книга за Книгой. Род Тэтчер, род Хоббс, род Гарви. Кражи, драки, долги. Пени.

И везде — то же самое.

Не в каждой Книге. В одной из четырёх, может быть. В одной из трёх. Даты, которые не сходились. Приговоры в городах, где род не жил. Преступления, совершённые мёртвыми. И почерк. Тот самый, острый, наклонный, с длинными хвостами-крючками. Я научилась узнавать его с первой буквы. Почерк появлялся в записях всех веков — от первого года Содружества до прошлой осени. Никогда в записях, где долг был искуплен. Всегда — там, где долг рос.

Я начала вести список.

Не на бумаге. Бумагу могли найти. В голове. Отец научил меня запоминать числа рядами — «как ноты на нотном стане, Рен». Номер Книги. Страница. Строка. Год. Расхождение. Я складывала их в памяти, как бусины на нитку. Через две недели нитка стала длиной в сто шестьдесят три бусины.

Сто шестьдесят три записи. В двухстах восьмидесяти Книгах.

Больше половины долгов Гряды, которые прошли через мои руки, были подделкой.

* * *

Лотти я нашла сама.

Фенн сказал: маленькая, светленькая, с родинкой на щеке, у котлов в прачечной. Я высматривала её каждый день в

столовой, во дворе, в очереди к колодцу. Нашла на шестой.

Девушка сидела на краю лавки в углу столовой, отдельно от всех, и ела жидкую кашу, низко наклонившись над миской. Тоненькая, почти прозрачная, с пушистыми светлыми волосами, остриженными, как у всех, и выбивающимися из-под платка. На левой щеке — тёмная родинка, круглая, как капля чернил. Руки — такие же красные, распухшие, с лопнувшей кожей, как были у меня в первые дни.

На левом запястье — обруч. Цифры: 20.

Двадцать. Всего двадцать. Совсем немного, по меркам Гряды. Только это пока. «Когда я стопнусь, она получит мою Книгу».

Я села рядом. С краю, на расстоянии.

— Ты Лотти? — спросила я тихо.

Девушка вздрогнула. Подняла голову. Глаза у неё оказались огромными, светло-карими, как у оленёнка. Испуганными.

— Да, — шёпотом.

— Я Рен. Работаю с твоим дедом. В Скриптории.

Испуг в глазах сменился любопытством. Потом — чем-то тёплым.

— Белоручка, — Лотти улыбнулась. Робко, одними уголками губ. — Дедушка про тебя рассказывал. Говорит, у тебя почерк, как у ангела. И что ты упрямая, как ослица. Это он так хвалит.

Я засмеялась. Тихо, чтобы не услышала Сестра Агнесса за

столом у двери.

— Он тебе передал вот это, — я сунула под край её миски свёрток. Кусок сыра, завёрнутый в бумагу. Фенн отдавал мне свой каждый вечер — «мне всё равно не прожевать, зубов нет» — и просил передать внучке.

Лотти посмотрела на свёрток. На меня.

— Он всегда так, — прошептала девушка. — Сам не ест. Мне отдаёт. Ему семьдесят. Он похудел за зиму на два пуда. — Пауза. — Он боится, что стопнется. Не за себя. За меня. Из-за Книги.

— Я знаю.

— Триста один год, — Лотти смотрела на свою миску. — Я посчитала. Если работать без выходных, я отработаю двадцать своих к сорока. А потом — дедушкины. Если доживу. — Девушка подняла на меня глаза. — Ты считать умеешь, Белоручка. Скажи — это сколько?

Я молчала.

Лотти кивнула, будто я ответила.

— Вот и я так думаю, — проговорила девушка. И снова наклонилась над кашей.

* * *

Через неделю мы уже сидели рядом каждый ужин.

Лотти оказалась болтливой — когда переставала бояться. Рассказывала про прачечную, про котлы, про Сестру Агнессу, которая однажды выписала ей три года пеней за то, что Лотти чихнула во время молитвы. Про маму — та стопну-

лась два года назад от чахотки, и Лотти получила её двадцать лет. Отца Лотти не помнила. Про Маб, которую побаивалась, «потому что Маб однажды укусила Надзирателя». Про мальчика из мужского корпуса, Тома Ривза, который на прошлой неделе передал ей через щель в стене бумажный цветок.

— Прикосновения запрещены, — говорила Лотти, краснея. — Но бумажные цветы — не прикосновения. Правда ведь?

— Правда.

— Вот и я так думаю.

Однажды внучка Фенна спросила про Кольцо.

— Там правда есть фонтаны? — Лотти смотрела на меня через стол огромными оленьими глазами. — С водой? Прямо на улицах? И её можно пить?

— Можно.

— И никто не платит?

— Никто.

Девушка долго молчала.

— А у тебя было платье? — спросила Лотти наконец. — Такое, знаешь. Красивое. Бальное. Как на картинках.

Я вспомнила. Тёмно-синий шёлк, который я надевала на Зимний бал. Джулиан Кроу пригласил меня на три вальса. Селеста дулась весь вечер, а потом съела все пирожные с моей тарелки.

— Было, — ответила я. — Много.

— Ты его скучаешь?

— Нет, — я сама удивилась своему ответу. — Нет, не скучаю.

Лотти не поверила. Я видела по глазам. Но кивнула.

— А я бы скучала, — проговорила девушка тихо. — Я бы каждый день скучала.

* * *

В середине третьей недели я нарушила комендантский час.

Не нарочно. Фенн задержал меня в Скриптории до темноты — нужно было сверить срочную копию для Палаты, двадцать страниц. Когда я закончила и спустилась во двор, колокол на часовне уже отбил девять. Ворота корпусов были заперты. Фонари горели через один.

Я стояла посреди тёмного двора, у колодца, и не знала, что делать. Постучать в дверь женского корпуса? Разбудить Сестру Агнессу? Это пени. Год, может, два. Остаться во дворе до утра? Тоже пени. И холодно.

— Холлоуэй.

Я вздрогнула. Обернулась.

Кассиан Вэр стоял в тени у стены часовни. Я не видела его. Не слышала. Как будто Надзиратель вырос из темноты.

— Скрипторий, — выдохнула я. — Фенн задержал. Срочная копия. Я…

— Знаю, — Надзиратель вышел из тени. В свете фонаря его лицо было резким, бледным, неподвижным. — Я видел свет в окне.

— Ты следил за мной?

— Я слежу за всеми, — Вэр подошёл к колодцу. Встал по другую сторону железного ворота. — Это моя работа.

— Ты выпишешь мне пени?

Кассиан долго смотрел на меня через колодец. Тёмные глаза ничего не выражали.

— Нет, — ответил Надзиратель наконец.

— Почему?

— Потому что тебя задержал Фенн. По работе. Это не нарушение.

— Сестра Агнесса так не скажет.

— Сестра Агнесса спит, — Вэр положил руку на ворот колодца. Длинные пальцы, сухие, с короткими ногтями. — А дверь женского корпуса открывается моим ключом. Я тебя проведу. Через пять минут.

— Почему через пять?

Надзиратель не ответил. Смотрел на воду в колодце. Чёрную, неподвижную, далеко внизу.

— Пиккерта нашли здесь, — проговорил Кассиан тихо. Не мне — колодцу. — В прошлом месяце. Утром. Я его вытаскивал.

Я замерла.

— Фенн рассказал, — прошептала я.

— Фенн много рассказывает, — Вэр не поднял глаз. — Для человека, который боится.

— Он не боится. Он осторожен.

— Это одно и то же, Холлоуэй.

Ветер шевелил верёвку на вороте. Где-то за стеной лаяла собака. Пахло угольным дымом и сыростью.

— Ты знаешь, почему Пиккерт упал в колодец? — спросила я.

Кассиан поднял голову. Посмотрел на меня. Долго, внимательно.

— Знаю, — ответил Надзиратель.

— И что?

— И ничего. Я — глаза Палаты, — Вэр отпустил ворот. — Глаза видят. Глаза не говорят.

Вэр обошёл колодец. Остановился рядом со мной. Близко. Ближе, чем позволял закон. Я чувствовала тепло его тела сквозь грубую ткань балахона.

— Ты переписываешь сорок вторую полку, — проговорил Кассиан тихо. — Я видел, как ты смотришь на страницы. Как останавливаешься. Как шевелишь губами. Ты считаешь.

Я не ответила.

— Пиккерт тоже считал, — продолжал Надзиратель. — Шевелил губами. Останавливался. А потом сел и написал письмо. — Пауза. — Не пиши писем, Холлоуэй.

— Я не пишу.

— Знаю. Пока.

Кассиан смотрел мне в глаза. Сверху вниз — выше меня на голову. В свете фонаря я видела его лицо совсем близко: тёмные брови, прямой нос, тонкий шрам у подбородка, ко-

торого раньше не замечала. Губы. Сжатые, неподвижные.

— Почему тебе не всё равно? — спросила я. — Ты сам сказал — глаза не говорят. Тогда зачем ты говоришь мне?

Кассиан молчал.

Долго. Очень долго. Ветер шевелил его тёмные волосы.

— Потому что ты держала меня за руку, — ответил Надзиратель наконец. Тихо, почти шёпотом. — Когда я надевал обруч. Ты схватила меня за рукав. Сама. Не заметила, наверное. Держала всё время, пока железо остывало.

Я не помнила. Совсем. Помнила только боль. Белую, ослепительную.

— Меня никто никогда не держал за руку, — проговорил Кассиан. — Восемь лет. С тех пор как вытащили из-под завала. — Пауза. — Это глупо. Я знаю.

Надзиратель отступил на шаг. Потом ещё на один. Лицо снова стало неподвижным.

— Пять минут прошли, — сообщил Надзиратель обычным голосом. — Сестра Агнесса обходит корпус в девять пятнадцать. Сейчас — девять двадцать. Идём.

Я пошла за ним.

У двери женского корпуса Кассиан достал ключ. Повернул в замке. Бесшумно. Открыл.

— Холлоуэй, — проговорил Вэр, когда я уже шагнула через порог.

Я обернулась.

— Если всё-таки решишь написать письмо, — Надзира-

тель стоял в темноте, его лица почти не было видно, — не пиши в Палату.

— А куда?

Дверь закрылась.

* * *

Маб не спала.

Я поняла это, когда легла: соседняя койка скрипнула, и в жёлтом прямоугольнике света от фонаря блеснули глаза.

— Вэр, — прошептала Маб. Не вопрос.

— Откуда ты…

— Слышала, как ключ в замке повернулся. У него одного такой ключ — бесшумный. Остальные гремят, как кастрюли, — соседка приподнялась на локте. — Он тебя провёл? Через ночь? Без пеней?

— Да.

Маб долго молчала. Потом тихо, коротко присвистнула.

— Белоручка, — протянула соседка. — Ты понимаешь, что ты сейчас сделала?

— Опоздала на отбой.

— Ты заставила Кассиана Вэра нарушить правило, — Маб села на койке, обхватив колени. — Я его знаю десять лет. Он за восемь лет службы ни одного правила не нарушил. Ни одного. Он даже на мать свою покойную в поминальный день не ходит молиться, потому что поминальный день для Надзирателей не положен. А тут — ты. Три недели. И он тебе дверь открывает.

— Он сказал, что Фенн меня задержал по работе. Что это не нарушение.

— Ага. Конечно, — Маб фыркнула. — И что ещё он сказал?

Я не ответила. Смотрела в потолок.

«Меня никто никогда не держал за руку».

— Слушай меня, — соседка понизила голос до едва слышного шёпота. — Я не знаю, что у вас там. И знать не хочу. Но запомни одно. Надзиратель, который нарушает правило ради искупленца, — это Надзиратель, которого скоро не будет. Их меняют. Тихо. Однажды утром приходит новый, а про старого никто не спрашивает. Потому что спрашивать про того, кого нет, — бессмысленно.

— Куда их отправляют?

— В Скалу, — ответила Маб. — Говорят. Под Собор. Никто оттуда не возвращался, так что не знаю.

Я лежала неподвижно.

— Он тебе нравится, — проговорила соседка. Не вопрос.

— Нет.

— Нравится. У тебя голос другой, когда ты про него говоришь. Как у Лотти про этого её Тома с бумажными цветочками.

— Маб.

— Ладно, ладно, — соседка снова легла, отвернулась к стене. — Спи, Белоручка. Только помни: здесь всё, что тебе нравится, кто-нибудь обязательно отнимет. Это закон. По-

крепче, чем Закон Наследования.

Я долго не могла уснуть.

* * *

Через два дня в Дом номер три приехал писец Палаты.

Молодой человек в чёрном сюртуке с серебряной вышивкой по вороту, в очках, с кожаной папкой под мышкой. Бледный, с прилизанными волосами и тонкими, будто нарисованными, усиками. Гость вышел из кареты во дворе, огляделся с брезгливой гримасой и прошёл прямо в часовню, к Сестре Агнессе.

Через полчаса меня вызвали.

Сестра Агнесса сидела за столом в маленькой комнате за алтарём. Писец — рядом, на стуле, закинув ногу на ногу. На столе между ними лежала Книга.

Моя. Номер 1147. Тёмно-красная, с золотым номером.

— Холлоуэй, — смотрительница смотрела на меня кукольными глазами. — Господин писец Палаты прибыл по поручению Лорда-Архивариуса.

— Вам вручили оригинал, — писец говорил, растягивая слова, глядя на меня поверх очков. — По ошибке. Книга рода Холлоуэй — старая. Её оригинал должен храниться в Скале, а вам полагалась копия. Палата требует вернуть оригинал.

Я посмотрела на Книгу. На руки писца, лежащие рядом — белые, холёные, с перстнем.

— Хорошо, — проговорила я.

— Но сначала, — продолжал писец, — нужно изготовить копию. Здесь. Для вас. Вы обязаны хранить Книгу при себе до конца срока, — писец позволил себе тонкую улыбку. — Я слышал, вы работаете в Скриптории.

Я поняла раньше, чем прозвучали слова.

— Холлоуэй, — Сестра Агнесса сложила руки на столе. — Ты перепишешь собственную Книгу. Своей рукой. Каждую страницу. Каждую запись. Каждое число. — Пауза. — Это поможет тебе осознать свою вину. Срок — три дня. Потом оригинал уедет с господином писцом в Палату.

Писец улыбался.

Я стояла и смотрела на Книгу 1147. На тёмно-красную кожу, потёртую по углам. Сестра Агнесса думала, что это наказание. Писец думал, что это унижение.

Ни один из них не знал, что три дня наедине с оригиналом — это ровно то, о чём я мечтала с того вечера в камере номер девять.

— Да, Сестра, — проговорила я тихо. И опустила голову. Покорно, как положено искупленцу.

Чтобы никто не увидел моего лица.

Глава шестая. Палимпсест

Книгу 1147 положили на мой пюпитр в Скриптории в семь утра. Писец Палаты лично принёс её из часовни, завёрнутую в чёрную ткань, и положил передо мной, как кладут на стол покойника.

— Три дня, — напомнил писец. Звали его, как выясни-

лось, мастер Тобиас Уилк, младший хранитель Скалы. — Я буду здесь. Каждый день. С семи до шести. Наблюдать.

Уилк придвинул табурет к соседнему пюпитру. Сел. Раскрыл на коленях кожаную папку. Достал оттуда яблоко и маленький ножик.

Фенн у первого окна поднял голову. Посмотрел на писца. На меня. Ничего не сказал. Снова склонился над своей работой.

Я развернула ткань.

Книга лежала передо мной — тёмно-красная, тяжёлая, с потёртыми углами. Золотой номер на корешке. Я открыла первую страницу. Родословная. Двенадцать поколений Холлоуэев, каллиграфия разных веков, разные чернила. Отцовское имя внизу. Год смерти, вписанный свежими чернилами.

Взяла перо. Обмакнула.

И начала переписывать.

* * *

Первый день я переписывала родословную.

Это было самым простым. Имена, даты, браки. Двенадцать поколений. Бертрам, выкупивший долг. Освальд, заседавший в Сенате. Генри, мой дед, которого я помнила смутно — высокого старика с белыми бакенбардами, который учил меня играть в шашки и всегда поддавался. И Эдмунд.

Над отцовским именем я сидела долго. Мастер Уилк дважды кашлянул. Я не обратила внимания. Выводила каждую букву медленно, аккуратно, как никогда в жизни ничего не

писала. Эдмунд. Артур. Холлоуэй. Год рождения — 254.

Год смерти — 301.

Я написала. Перо дрогнуло на последней цифре — чуть-чуть, едва заметно. Единица вышла кривой. Я не стала исправлять.

Мастер Уилк ел яблоко и смотрел в окно.

* * *

Второй день — «Долги рода».

Три записи. Две старые, с печатями «искуплено». Я переписала их быстро. Третья — двенадцать лет, «найдено при сверке, 300 г. С.». Прапрапрапрадед Мэтью Холлоуэй, побег с каторги при королях.

Я перечитала запись в оригинале.

Почерк. Острый, наклонный, с длинными хвостами-крючками у «у» и «д».

Тот самый.

Я переписала. Ровно, аккуратно, моим почерком. Без единой ошибки. А в голове добавила к нитке сто шестьдесят четвёртую бусину. Книга 1147. Страница 2. Строка 9. Год 300. Почерк — «крючки».

Мастер Уилк чистил перочинным ножиком ногти.

* * *

Третий день — третья страница.

Приговор.

Я открыла её в семь утра и долго смотрела, не беря пера. «Приговор Высшего Трибунала Содружества. Закрытое за-

седание. 11-го числа месяца Жатвы 281 г. С.».

— Холлоуэй, — мастер Уилк поднял голову. — Время идёт.

— Я знаю, — ответила я, не поднимая глаз. — Я читаю. Перед тем как переписывать, надо прочесть. Чтобы не ошибиться.

— Вы уже читали.

— Это мой отец, мастер Уилк, — я подняла на него взгляд. — Приговор моему отцу. Я имею право прочесть его ещё раз. Перед тем как вы его заберёте навсегда.

Писец открыл рот. Закрыл. Поморщился.

— Пять минут, — бросил Уилк и отвернулся к окну.

Я читала.

Статья первая. Государственная измена. Триста лет. Исполнение отложено. Три подписи. Рэдклифф. Морроу. Холлоуэй. Печать. Пометка в углу: «Перевод на наследника — по смерти. Исп. в ночь Счёта. С. Б.».

Я провела пальцем по краю страницы. Бумага была плотной, гладкой, чуть желтоватой. Хорошая бумага. Старая. Сенатская — такую делали только в одной мастерской Кольца, с водяным знаком в виде раскрытой книги.

Я повернула страницу к свету. К окну. Водяной знак проступил сквозь бумагу — бледный, призрачный. Раскрытая книга.

И что-то ещё.

Я замерла.

Под строчками приговора, сквозь бумагу, на просвет, — другие строчки. Бледные, едва видимые, как тени. Не водяной знак. Чернила. Старые чернила, которые кто-то соскоблил. Очень аккуратно, очень тщательно — так, что на ощупь страница была гладкой. Но бумага помнила.

Палимпсест.

Я читала об этом. Ротвелл, каллиграф Сената, рассказывал. В древности, когда бумага была дорогой, писцы соскабливали старый текст с пергамента и писали поверх новый. Но старые чернила въедались в волокна, и если поднести лист к свету под определённым углом…

— Холлоуэй.

Я вздрогнула. Опустила страницу.

— Пять минут прошло, — мастер Уилк смотрел на меня. Подозрительно? Нет. Скучающе. — Переписывайте.

— Да, мастер.

Я взяла перо. Начала переписывать. Медленно. Буква за буквой.

«Приговор Высшего Трибунала Содружества…»

Сердце колотилось так, что дрожали руки. Я сжимала перо до боли в пальцах. Писала. А в голове крутилось одно: что там, под приговором? Что было на этой странице раньше? Кто соскоблил? Когда?

Мне нужен был свет. Яркий, под углом. И время. Хотя бы полчаса. Без мастера Уилка.

До шести вечера оставалось девять часов.

* * *

Мастер Уилк ушёл обедать в полдень. Взял папку, завернул Книгу 1147 в чёрную ткань, сунул под мышку и унёс с собой.

— Таков порядок, — объяснил писец. — Оригинал не оставляется без присмотра. Ни на минуту.

Я смотрела ему вслед и сжимала кулаки под пюпитром.

Фенн у первого окна отложил перо.

— Ты что-то нашла, — проговорил старик тихо. Как в первый день. Не вопрос.

— Нет.

— Белоручка, — Фенн снял очки. — У тебя на лице всё написано. Ещё крупнее, чем почерком. Этот хлыщ из Палаты не заметил, потому что он дурак. Но Агнесса заметит. Или Вэр. — Пауза. — Что там?

Я помедлила. Посмотрела на дверь. Пусто. Остальные переписчики ушли на обед.

— Палимпсест, — прошептала я. — Под приговором. Старые чернила. Соскобленные.

Фенн долго молчал. Протирал очки краем бороды.

— Ты уверена?

— На просвет видно. Строчки. Не могу прочесть. Нужен свет. Яркий. Под углом.

Старик надел очки. Посмотрел в окно. На серое мартовское небо над Гряды.

— Солнца сегодня не будет, — проговорил Фенн. — Тучи

до вечера. — Пауза. — Но есть лампа.

— Какая лампа?

— Масляная, со стеклом. Для работы ночью, когда срочные заказы. В кладовке за Скрипторием, — старик посмотрел на меня поверх очков. — Если поставить её за лист, с другой стороны, — будет видно лучше, чем на солнце. Я так делал. Сорок лет назад. Когда ещё был любопытным.

— Но Уилк не оставит Книгу. Ни на минуту.

— Не оставит, — согласился Фенн. — Значит, Уилк должен уйти. С пустыми руками.

* * *

Мастер Уилк вернулся в половине первого. Положил Книгу на мой пюпитр. Развернул ткань. Сел на свой табурет. Достал из папки второе яблоко.

Я переписывала третью страницу. Медленно, медленно. Растягивая каждую букву.

В два часа дня Фенн встал из-за своего пюпитра.

Подошёл к мастеру Уилку. Медленно, шаркая. Остановился рядом. Посмотрел на писца сверху вниз сквозь толстые линзы.

— Господин писец, — голос старика был скрипучим, почтительным. — Прошу прощения. Сестра Агнесса велела передать: вас ожидают в часовне. Срочно. Курьер из Палаты.

— Курьер? — Уилк нахмурился. — Мне ничего не сообщали.

— Мне тоже, господин писец, — Фенн развёл руками. —

Мне велели передать. Я передал.

Писец посмотрел на меня. На Книгу на пюпитре. Снова на Фенна.

— Я возьму Книгу с собой.

— Как скажете, господин писец, — старик кивнул. — Только курьер, говорят, привёз новые бумаги для этой самой Книги. Дополнительную выписку. Сестра Агнесса велела, чтобы Книга осталась здесь, для вклейки. Чтобы не носить туда-сюда.

Уилк колебался. Я видела, как писец колеблется: брови сдвинулись, тонкие усики дёрнулись. Посмотрел на Фенна — старого, сгорбленного, с трясущимися руками. На меня — склонённую над пюпитром, с пером в руке, покорную.

— Пять минут, — бросил писец, поднимаясь. — Я вернусь через пять минут. Если что-то пропадёт — сто лет пеней. Каждому. Понятно?

— Понятно, господин писец.

Уилк вышел. Его шаги застучали по лестнице.

— Пять минут, — прошептал Фенн. — Потом он вернётся. Злой. Курьера нет, — старик уже ковылял к двери кладовки. — Быстро, Белоручка. Быстро.

* * *

Лампа оказалась старой, медной, с закопчённым стеклом. Фенн зажёг её спичкой. Фитиль вспыхнул ярко, жёлто. Старик поставил лампу на пол у пюпитра, за Книгой.

Я подняла третью страницу. Повернула её к свету лампы.

Под углом.

И увидела.

Строчки проступили сквозь бумагу. Бледные, коричневатые, призрачные — между строчками приговора и сквозь них. Другой почерк. Не каллиграфия. Обычный, деловой, с крупными буквами. Отцовский.

Я читала. Губы шевелились беззвучно.

«Протокол о защите свидетеля. Закрытое заседание Трибунала. 11-го числа месяца Жатвы 281 г. С.

Эдмунд Артур Холлоуэй, младший судья, дал показания по делу о подлоге в Реестре Содружества (дело № 4416). Показания подтверждены документами из Ведомости Потребностей Совета Промышленности за 278–281 гг.

Решение: Свидетелю гарантируется неприкосновенность личности и рода. Книга рода Холлоуэй закрыта для любых изменений без личного согласия свидетеля. Дело № 4416 передано Лорду-Архивариусу для расследования.

Подписи: Рэдклифф, Морроу, Холлоуэй (как свидетель)».

Дальше — неразборчиво. Соскоблено сильнее. Только одно слово, внизу, проступало чётче остальных. Подчёркнутое дважды.

«Скала».

Я опустила страницу.

Руки тряслись так, что бумага дребезжала.

Двадцать лет назад мой отец, младший судья, дал показания. О подлоге в Реестре. О какой-то Ведомости По-

требностей. Трибунал признал его свидетелем. Гарантировал неприкосновенность — ему и роду. Закрыл Книгу Холлоуэев от изменений.

Дело передали Лорду-Архивариусу.

А потом кто-то соскоблил протокол. И написал поверх приговор. Тем же числом. С теми же подписями. Отцовская подпись — «как свидетель» — стала подписью «судьи». Рэдклифф и Морроу — настоящими, двадцатилетней давности. Их не нужно было подделывать. Только текст.

Двенадцать лет «найденных при сверке» в прошлом году — первая трещина в «закрытой» Книге.

«Исп. в ночь Счёта. С. Б.»

— Белоручка, — прошептал Фенн у меня за плечом. Старик тоже видел. Читал. Его лицо в свете лампы было белым, как борода. — Белоручка, это…

Шаги на лестнице.

Не Уилка — тот топал. Эти были бесшумными. Почти.

Фенн задул лампу. Я опустила страницу на пюпитр. Схватила перо.

Дверь открылась.

* * *

Кассиан Вэр стоял на пороге Скриптория.

Тёмно-серый мундир. Неподвижное лицо. Глаза — на лампу, которая ещё дымилась у моих ног. На Фенна, застывшего рядом. На меня. На Книгу.

Надзиратель вошёл. Закрыл за собой дверь.

Подошёл к пюпитру. Медленно. Остановился рядом.

Посмотрел на страницу.

Я не дышала. Фенн рядом тоже не дышал. Лампа у пола тихо потрескивала остывающим стеклом.

Кассиан протянул руку. Взял Книгу 1147. Поднял третью страницу. Повернул её к окну — к серому мартовскому свету.

Строчки на просвет были почти не видны. Бледнее, чем при лампе. Но если знать, куда смотреть…

Надзиратель знал.

Я видела, как его глаза двигаются по странице. Строчка за строчкой. Медленно. «Протокол о защите свидетеля». «Ведомость Потребностей». «Скала». Лицо не менялось. Ни одна мышца.

Потом Надзиратель опустил страницу.

— Уилк идёт, — проговорил Кассиан. Тихо, ровно. — Он на втором этаже. Ругается с Сестрой Агнессой. Курьера нет. Он знает, что его обманули. Через минуту будет здесь.

— Вэр, — прошептал Фенн. — Вэр, это я. Это я его выманил. Она не виновата. Белоручка ничего не…

— Тихо, Фенн.

Кассиан посмотрел на меня.

Тёмно-серые глаза. Почти чёрные. Совсем близко.

Я ждала. Сейчас Вэр позовёт Агнессу. Сейчас скажет: «Холлоуэй пыталась испортить оригинал». Сейчас — сто лет пеней. Или колодец. Как Пиккерт.

Надзиратель достал из-за голенища сапога нож.

Короткий, узкий, с костяной рукоятью. Я вздрогнула. Фенн охнул.

Кассиан провёл лезвием вдоль корешка Книги. Быстро, точно, одним движением. Там, где третья страница была вшита в переплёт. Нитки лопнули с тихим сухим треском. Страница отделилась.

Надзиратель сложил её вчетверо. Сунул за пазуху, под мундир.

Взял с моего пюпитра лист, на котором я начала копировать приговор. Мой почерк, моя копия, полстраницы. Аккуратно вложил его в Книгу, на место вырезанной страницы. Закрыл. Положил обратно на пюпитр.

Всё это — за десять секунд.

— Ты переписала приговор, — проговорил Кассиан мне. Ровно, без интонации, как диктуют. — Первую половину. Остальное — допишешь сейчас, по памяти. Твоя копия будет в Книге вместо оригинальной страницы. Уилк не заметит. Он не смотрел на страницы три дня. Он смотрел в окно.

— А оригинал? — прошептала я.

— Оригинала больше нет, — Надзиратель отступил от пюпитра. — В Книге 1147 всегда была копия третьей страницы. Ты ничего не находила. Фенн ничего не видел. Лампы не было.

Кассиан поднял лампу с пола. Одним движением сунул в карман мундира — горячую, с остывающим стеклом. Даже

не поморщился.

Шаги на лестнице. Громкие, злые. Топот.

Кассиан пошёл к двери. На пороге обернулся.

— Пиши, Холлоуэй, — бросил Надзиратель. — Быстро. Своим почерком. Без ошибок.

Надзиратель вышел.

Дверь открылась через три секунды. Мастер Уилк ворвался в Скрипторий — красный, взъерошенный, с перекошенными очками.

— Где? — рявкнул писец. — Где этот старый лжец?! Никакого курьера нет! Никакой выписки! Агнесса впервые слышит!

Фенн у первого окна поднял голову от своего пюпитра. Посмотрел на писца сквозь толстые линзы — растерянно, по-стариковски.

— Простите, господин писец, — прошамкал старик. — Мне сказали. Какой-то мальчишка во дворе. Сказал — передать. Я передал. Я старый, господин писец, я плохо слышу.

Уилк перевёл взгляд на меня.

Я сидела над пюпитром. Писала. Медленно, ровно, своим почерком. Вторую половину приговора. По памяти. «…Исполнение отложено на срок службы осуждённого по ходатайству Лорда-Архивариуса. Приговор засекречен».

Книга 1147 лежала рядом. Закрытая.

Писец подошёл. Открыл Книгу. Пролистал. Родословная. Долги рода. Третья страница — мой лист, моим почерком,

полстраницы. Уилк посмотрел на него, нахмурился.

— Это что?

— Копия, мастер, — ответила я, не поднимая глаз. — Я закладываю копию в оригинал, чтобы сверять построчно. Так делают в Скриптории. Чтобы не ошибиться.

Писец смотрел на лист. На мой почерк. Потом — на меня.

— Странный способ, — пробормотал Уилк.

— Так учил мастер Ротвелл, — я не подняла головы. — Каллиграф Сената.

Ротвелла знали все. Писец поморщился. Закрыл Книгу.

— Заканчивайте, — бросил мастер Уилк. — Через час я забираю оригинал.

Писец сел на свой табурет. Достал из папки последнее яблоко.

И больше ни разу не открыл Книгу.

* * *

Вечером, в шесть, мастер Уилк уехал. Книга 1147 — оригинал, с моей копией третьей страницы вместо настоящей — лежала у него в папке, завёрнутая в чёрную ткань. Её отвезут в Скалу. Поставят на полку. Никто никогда не откроет.

А моя новая копия — свежая, пахнущая чернилами, переписанная моей рукой от первой страницы до последней, — лежала у меня на коленях.

Я сидела на своей койке в комнате номер двенадцать и держала её, не открывая.

В девять погасили свет.

В девять пятнадцать Сестра Агнесса прошла по коридору с обходом. Её шаги удалились.

В девять тридцать в дверь комнаты тихо постучали. Один раз.

Маб на соседней койке приподнялась на локте. Посмотрела на меня. Ничего не сказала. Снова легла.

Я встала. Подошла к двери. Открыла.

В коридоре было темно. Пусто. Никого.

На полу у порога лежал сложенный вчетверо лист бумаги. Плотной, чуть желтоватой, сенатской, с водяным знаком в виде раскрытой книги.

Я подняла его.

Развернула. В темноте ничего не было видно. Но я знала, что это.

Третья страница Книги 1147. Приговор. И под ним — протокол.

Внизу, у самого края, кто-то приписал карандашом. Мелко, торопливо, незнакомым почерком. Острым, ровным, без единого завитка.

«Не в Палату. В Скалу. — К.»

Глава седьмая. Столб

Кассиан Вэр не смотрел на меня четыре дня.

Я видела его каждый день — во дворе, в столовой, в коридорах, у дверей Скриптория. Надзиратель стоял, заложив руки за спину, и смотрел поверх голов. На искупленцев. На стены. На небо. Куда угодно — только не на меня. Когда я

проходила мимо, тёмно-серые глаза скользили по мне, как по пустому месту. Ни одного знака. Ни одного кивка.

Как будто ничего не было. Ни колодца. Ни лампы. Ни ножа, разрезающего нитки переплёта. Ни сложенного вчетверо листа у моей двери.

Лист я спрятала. В соломе матраса, в самом углу, под надорванным швом. Каждую ночь, когда гасили свет, просовывала руку в шов и трогала бумагу кончиками пальцев. Проверяла, на месте ли.

«Не в Палату. В Скалу. — К.»

Я не знала, что такое Скала. Знала только то, что говорили: хранилище под Собором Счёта. Подвалы. Подземелье. Туда уносили оригиналы старых Книг. Туда, по словам Маб, уводили Надзирателей, которые нарушали правила.

И туда двадцать лет назад отец написал слово, подчёркнутое дважды.

* * *

На пятый день высекли Лотти.

Это случилось утром, во время молитвы. Сестра Агнесса читала с кафедры «Наставления» — ровно, монотонно, высоким голосом. Мы стояли рядами на каменном полу часовни, опустив головы. Женщины слева, мужчины справа, Надзиратели вдоль стен.

Лотти стояла в третьем ряду передо мной. Маленькая, тоненькая, в сером балахоне, с выбивающимися из-под платка светлыми прядями.

Из рукава у неё выпал бумажный цветок.

Я видела, как это случилось. Лотти подняла руку, чтобы поправить платок, — и из широкого рукава выскользнуло что-то белое. Сложенное, хрупкое. Упало на каменный пол. Раскрылось.

Роза. Бумажная роза с пятью лепестками, сложенная из страницы старого молитвенника.

Сестра Агнесса замолчала.

Посреди фразы. На полуслове. Часовня замерла. Сто человек не дышали.

Смотрительница спустилась с кафедры. Медленно, неторопливо. Прошла между рядами. Остановилась перед Лотти. Посмотрела на цветок у её ног. Наклонилась. Подняла его двумя пальцами — как поднимают дохлую мышь.

— Чья работа? — спросила Сестра Агнесса.

Лотти молчала. Стояла, опустив голову, и тряслась. Я видела, как дрожат её плечи под балахоном.

— Чья работа, Фенн? — повторила смотрительница. Голос не изменился. Ни на тон.

— Моя, — прошептала Лотти.

— Ложь, — Сестра Агнесса покачала головой. — Ты не умеешь складывать бумагу. Твои руки годятся только для корыта. — Пауза. — Это работа мужской руки. Мужской корпус. Кто?

Лотти молчала.

На мужской стороне часовни кто-то шевельнулся. Высо-

кий худой парень с рыжеватыми вихрами. Том Ривз. Я видела его однажды через щель в стене. Парень сделал шаг вперёд.

Лотти обернулась. Посмотрела на него. Быстро, одним взглядом. И парень остановился.

— Моя, — повторила Лотти громче. — Я сама. Научилась. Из молитвенника.

Сестра Агнесса смотрела на неё долго. Кукольными, пустыми глазами.

— Порча молитвенника — пени, пять лет, — проговорила смотрительница наконец. — Ложь Сестре — пени, три года. И столб. Десять ударов, — смотрительница повернулась к стене, где стояли Надзиратели. — Вэр. После молитвы.

Кассиан стоял у стены. Неподвижно. Руки за спиной.

— Да, Сестра, — ответил Надзиратель.

Голос был ровным. Пустым.

* * *

Столб стоял посреди двора, у колодца.

Я не замечала его раньше — думала, это коновязь. Толстое дубовое бревно, вкопанное в мостовую, высотой в человеческий рост. С железными кольцами наверху. Тёмное, отполированное руками, исцарапанное.

Нас выстроили вокруг. Всех. Сто двадцать искупленцев Дома номер три. Так положено: наказание — урок для всех.

Лотти привязали к столбу лицом. Руки — к кольцам, над головой. Сестра Агнесса сама разрезала ножницами её ба-

лахон на спине, сверху донизу. Лотти не плакала. Стояла, прижавшись лбом к тёмному дереву, и молчала. Спина у неё была тонкой, белой, с выступающими позвонками, как у ребёнка.

Фенн стоял в первом ряду. Старик опирался на руку Маб — сам бы не устоял. Лицо у него было серым. Губы шевелились. Беззвучно.

Кассиан вышел к столбу.

В руке — плеть. Короткая, кожаная, с тремя хвостами.

— Десять, — объявила Сестра Агнесса. — Начинай.

Надзиратель поднял плеть.

И я пошла.

Я не думала. Не решала. Ноги сами вынесли меня из строя — через двор, по мостовой, к столбу. Маб за спиной охнула. Кто-то схватил меня за рукав — я вырвалась.

Встала между Кассианом и Лотти. Лицом к Надзирателю.

— Холлоуэй, — голос Сестры Агнессы был таким же ровным, как всегда. Но в нём что-то натянулось. — Встань в строй.

— Нет.

— Встань в строй, или будет второй столб.

— Это моя роза, — проговорила я.

Тишина. Сто двадцать человек смотрели на меня.

Кассиан смотрел на меня. С плетью в руке. Лицо — неподвижное. Глаза — тёмные, почти чёрные. Я не могла понять, что в них.

— Ложь, — Сестра Агнесса подошла ближе. — Ты из Кольца. Ты не складываешь бумагу.

— Складываю, — я не отводила взгляда от Надзирателя. — Меня учили. С детства. Бумажная пластика — это модно в Кольце, Сестра. Каждая девушка из хорошей семьи умеет сложить розу из бумаги. Пять лепестков. Как эта, — я повернулась к смотрительнице. — Хотите, покажу?

Сестра Агнесса смотрела на меня кукольными глазами.

— Ты сложила розу, — проговорила смотрительница медленно. — Из молитвенника. И отдала Фенн.

— Да.

— Зачем?

— Затем, что ей девятнадцать лет, — ответила я. — И она никогда не видела настоящих цветов.

Тишина.

Потом кто-то в строю тихо, коротко засмеялся. Маб. Я узнала её смех. Сестра Агнесса обернулась — смех оборвался.

— Хорошо, — проговорила смотрительница. Голос снова стал ровным. — Фенн — пени за ложь. Три года. Без столба. Холлоуэй — пени за порчу молитвенника. Пять лет. И столб. Десять ударов. — Пауза. — Отвяжите Фенн.

* * *

Меня привязали к столбу лицом.

Дерево было тёплым — от Лотти. Гладким. Пахло смолой, потом и чем-то железным. Кольца над головой были холод-

ными. Верёвка врезалась в запястья, чуть выше обруча.

Сестра Агнесса разрезала мой балахон сзади. Ножницы щёлкали. Холодный мартовский воздух коснулся голой спины.

Я прижалась лбом к столбу. Закрыла глаза. И начала считать.

Шаги за спиной. Бесшумные. Почти.

Пауза.

Долгая. Очень долгая. Я слышала, как дышит Кассиан у меня за спиной. Неровно. Тяжело. Я никогда не слышала, чтобы Надзиратель так дышал.

— Вэр, — голос Сестры Агнессы. — Начинай.

Первый удар.

Боль была не такой, как от обруча. Не белой. Красной. Три полосы огня поперёк лопаток. Я задохнулась. Не закричала. Сжала зубы так, что заломило челюсть.

Один.

Второй удар. Ниже. Огонь.

Два.

Третий. Четвёртый.

Я считала. Вслух. Шёпотом. Отец учил: «Когда страшно, Рен, считай. Числа — это лестница. По ним можно выбраться откуда угодно».

Пятый. Шестой.

Я поняла на седьмом.

Удары были сильными — звук хлёсткий, громкий, слыш-

ный на весь двор. Сто двадцать человек вздрагивали от каждого. Но боль… Боль была меньше, чем должна быть. Хвосты плети касались кожи — и тут же уходили. Не впивались. Не рвали. Кассиан бил так, чтобы было слышно. И так, чтобы не было больно.

Насколько это возможно.

Восемь.

Девять.

Десять.

Тишина.

Кто-то развязал верёвки на моих запястьях. Быстро, умелыми пальцами. Сухими, тёплыми. Я начала оседать вниз, к мостовой, — те же руки подхватили меня под мышки. Удержали.

— Стой, — шёпот у самого уха. Совсем тихо. Только мне. — Стой, Холлоуэй. Не падай. Если упадёшь — Агнесса решит, что мало.

Я стояла.

Кассиан отпустил меня. Отступил. Повернулся к Сестре Агнессе.

— Десять, Сестра.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.